

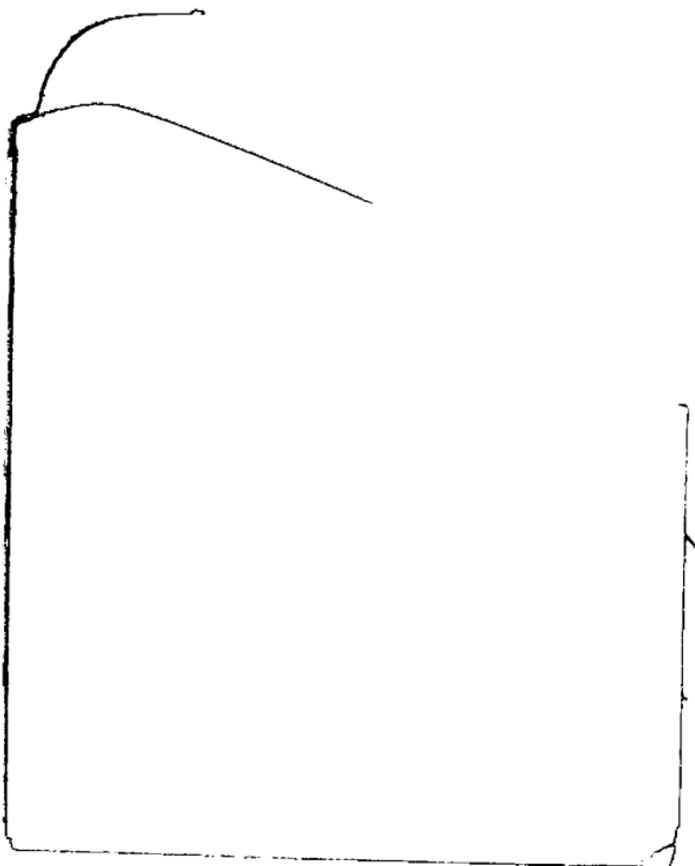
158649

К. КОНИЧЕВ



ОГИЗ ✦ АРХАНГЕЛЬСК ✦ 1938

JK



К. КОНИЧЕВ

Боевые  
дни

ОЧЕРКИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  
НА СЕВЕРЕ



АРХАНГЕЛЬСКОЕ  
ОБЛАСТНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

АРХАНГЕЛЬСК

1 9 3 8

158649.

K-64

## Правда о герое

Славный онежанин Костя Герасимов вырос в рабочей среде. Он прислушивался к разговорам революционно настроенных онежских пильщиков и сам становился ярким противником буржуазии. К семнадцати годам Костя окреп физически, был невысок ростом, но широк в плечах и силен на руку. И, когда летом в восемнадцатом году он решил вступить в красную гвардию, ему никто ни единым словом не возразил, никто не спросил: „а сколько тебе лет, товарищ Герасимов?“ Костю записали и даже выдали винтовку и к ней обойму, пока одну обойму боевых патронов.

За винтовку он ухватился крепко, повертел в руках, пощелкал затвором и снес ее домой в тот же день, совершенно не чувствуя ее тяжести, как будто винтовка нисколько не имела веса, как будто она срослась с ним.

Старушка-мать не удивилась тому, что Костя появился домой с ружьем: может, поохотиться парень вздумал, на уток сходить вниз по Онеге, а ружье взял у кого-либо из заводских товарищей.

Но вот Костя вытащил из-за голенища черный вороненый штык, навинтил его на конец ствола и бережно поставил винтовку в угол около своей кровати. И хотя мать Костина была несмышлена в оружейных делах, однако, поглядев на ружье, вспомнила, что она точно такие ружья видала в руках конвоиров-солдат. Покачала Костина мать головой и, обращаясь к сыну, проговорила с тревогой:

— Костя, Костя, ружье-то у тебя что-то неладное, ка-жись, снеси-ко обратно туда, где взял...

Костя ласково взглянул на мать, улыбнулся.

— Мама, ружье мне дано под расписку и сдам его в комиссариат только по требованию. А пока я должен его хранить при себе, чистить, беречь и учиться владеть им...

Время было тревожное. Ходили глухие слухи о возможности проникновения интервентов на Север — в Мурманск, в Онегу, в Архангельск.

Недаром, ложась спать, в белые, как день, онежские ночи, Костя Герасимов рядом с собою клал на кровать заряженную винтовку. И мать за это не бранила его, но боялась, как бы ее сынок по молодости, по глупости не выкинул чего несурзадного; стал бы лучше всего в сторонку от серьезных дел, которыми занимаются в эту тревожную пору взрослые. Она убеждала Костю и пословицы старинные приводила:

— Ой, Костюшенька, за какие ты такие дела берешься: что такое — красна гвардия? Смотри, чтобы худо нам не было. Правду сказано: молодой умок легок, куда ветерок — туда и умок. Незрелый яблочек не вкусен, а млад человек не искусен.

— А я, мама, иначе слышал про молодых, — отвечал Костя спокойно и веско: — другой и сед, да ума нет, старые старятся, молодые растут. Нам еще жить и жить, а раз так, надо и вперед смотреть, как жить. Власть наша рабочая, в эту пору все должны за нее стоять, пока всю буржуазию не доконаем.

До материнского сознания слова Костины не доходили; обычно мать отмахивалась, что-то шептала про себя, и думала старая: „Ладно, так уж и быть, молодой квас и тот играет, наиграется и мой Костюша; пока молод — летает пташкой, доживет до моих лет — пойдет черепашкой...“

Прошло два-три дня, как Костя подружился с винтовкой, его пригласили в Совет и сказали, что завтра утром он — Костя Герасимов и еще несколько красногвардейцев поведут под конвоем в Архангельск онежскую буржуазию. Уездный комиссар так и сказал:

— Это вам, товарищ Герасимов, первое оперативное поручение. Чтоб ни одна душа не сбежала, чтоб все, как один, буржуйчики были доставлены в распоряжение губернской власти, а там с ними разберутся. Раз требуют в Архангельск, значит знают, что с ними надо делать.

Костя был доволен поручением, польщен доверием и чувствовал, что он не чета своим сверстникам, что по деловитости он старше своих семнадцати лет. Он не раз подходил к зеркалу, всматривался в свое коричневое загоревшее лицо, и верно — он казался не таким юным, каким его представляла себе мать. „Только вот почему долго усы не прощипываются, пора бы уж? — думал Костя, — они у меня обязательно будут черные“.

От матери в тот вечер Костя скрыл, что ему наутро идти в путь-дорогу до Емцы, а там поездом в город. Всю

ночь он почти не спал, ворочался с боку на бок и щупал винтовку. Утром он обулся туго,—надел сапоги с большими холщевыми портянками,—взял винтовку и собрался идти.

— Куда ты, дитяtko, с ружьем-то, в такую рань?

— В Архангельск, жди дней через пять.

— Хоть бы не на лихую беду,—вздыхнула мать, умильно глядя на сына,—да хоть бы в дорогу попросил шанег испечь. Почему с вечера не сказал?

— Да просто так—не сказал и не сказал, чтобы тебе ничего не думалось и на слезы не позывало, знаю я тебя.

Июль восемнадцатого года подходил к концу. Для северян днями жара казалась несносной, вольготней лишь было к ночи. А ночи — с воробьиный шаг; нырнет солнце в Белое море и сразу всплывает чистое, яркое, точно вымытое в соленой беломорской купели. Где-то вдали — в Каргопольщине, в Приозерьи — горели леса, дым стоял густой, как туман, и в воздухе пахло торфяным перегаром.

В такую пору онежане-красногвардейцы вели в Архангельск уездную буржуазию. Тут были: купцы, лесовладельцы, промышленники и сам бывший городской голова — ханжа и взяточник Мосей Пахомов. Шли буржуи, обливаясь потом, и ворчали себе под нос на советскую власть; в Архангельске их ожидала принудительная работа, к которой они так не привыкли...

От станции к Онеге длинный лесной путь проходили красногвардейцы пешком, и не знали они, что через несколько дней этот самый путь и пулей и штыком им придется ограждать от нашествия интервентов...

\*

События развернулись быстро.

На пристань Онеги поступила телеграмма о том, что на пароходе „Михаил Архангел“, идущем с Мурманска, находится продовольствие для населения города Онеги и оружие для красной гвардии. Такое сообщение приподняло дух онежан-красногвардейцев, они с радостью ждали прибытия „Михаила Архангела“,—пароход этот в ту пору принадлежал Соловецкому монастырю.

В белую ночь пароход подошел к пристани. Несколько онежских красногвардейцев вышли встречать его и даже приняли чалки, как вдруг с „Михаила Архангела“ послышался внезапно пулеметный треск. Красногвардеец, принявший чалку, упал. Застигнутые врасплох онежане бросились от пристани к городу.

По трапам с парохода, с ружьями наперевес и с пулеметами, сошли английские интервенты. Их было до ста пятидесяти человек. Позади всех, с трубкой в зубах, в перчатках, со стэком в руке, при всей парадной форме, — надменный полковник Тормхил.

Беззащитный северный уездный город с 30 июля 1918 года оказался во власти интервентов и местной контрреволюции.

Вместе с горсточкой красногвардейцев тогда покинул Онегу и молодой, беззаветно преданный советской власти товарищ Костя Герасимов. Красногвардейцы отступили до Подпорожья. Здесь они добыли несколько винтовок, берданок и вооружили тех, у кого нехватало оружия. Здесь же группа красногвардейцев превратилась в организованный отряд красных партизан.

В отряде сначала было человек пятнадцать, через неделю он увеличился до пятидесяти, и тогда поставлено было целью — задержать продвижение интервентов и местной белогвардейщины в глубь Онежского уезда.

Красные партизаны умело скрывались в лесах на Чекуевском тракте, метко обстреливали белогвардейские отряды, всячески мешая им продвигаться вперед; так они выигрывали время, ожидая из Вологды прибытия войсковых подкреплений.

Однажды, примерно в половине августа восемнадцатого года, в местечке Чунове, между Чекуевым и Обозерской, произошла перестрелка между красными партизанами и наступавшим с большим перевесом сил противником.

Красные партизаны находились тогда в бараке, стоявшем на тракте. Послышались сигнальные выстрелы дозорных, предупреждавшие о приближении врагов. То прячась в канавах, то прижимаясь к опушке леса, противник неуклонно приближался к месту расположения красных партизан.

Враги уже на расстоянии обычного прицела. Их можно поражать без промаха.

Белогвардейцы и интервенты — в английской форме с иголочки; красные партизаны — в обычной крестьянской одежде. У врага — пулеметы и винчестеры; у партизан — берданки ржавые и редко у кого винтовки.

На счастье по пути в одном из сельсоветов партизаны нашли довольно много патронов, и было чем обороняться. Однако оборонялись недолго. Со стороны Чунова к белогвардейцам подоспели на помощь пулеметы. Град пуль посыпался в стены и стекла барака. Отстреливаться было невозможно. Противник мог из пулеметов изрешетить весь

барак, перебить всех партизан и свободно продвинуться к Обозерской. И партизаны, сберегая свои силы, отступили.

В бараке остался лишь Костя Герасимов, самый молодой из всех. Меткой стрельбой из винтовки он прикрывал отступление своих товарищей, почти каждым выстрелом выводя из строя кого-либо из наседавших белогвардейцев.

Интервенты и белогвардейцы решили попытаться взять в плен „живого“ большевика.

Барак был мгновенно окружен.

Отступившие партизаны считали Костю убитым. Но он даже не был ранен: стоял в углу за косяком, из окон наблюдал за противником, сосредоточенно целился и стрелял неспеша, с выдержкой и хладнокровием. Он видел, как, корчась от его пуль, падали интервенты, слышал их предсмертные крики, иные же падали молча: видно, тех пули сражали сразу насмерть. И еще слышал Костя гневные возгласы: „Сдавайся, коли жить хошь!“— Это кричали белые.

„Ну, чорта с два, чтоб я вам дался в руки живой. Знаю вашу милость!“— говорил Костя про себя, выбирая на мушку ближайшую к нему жертву... Мозг его работал лихорадочно. Отступить было поздно. Надеяться на то, что, сдавшись белякам, он останется жив,— он и не думал. Да нечего было ждать пощады,— многих ведь он уложил насмерть, ранил, и его не страшила неминуемая гибель; жизнь придется отдать, но отдать не дешево,— это уж не так печально.

Оставалось бороться до конца. Расстрелять все патроны, а потом пустить в дело штык. Но, быть может, он продержится до потемок (в августе-то уже настоящие ночи), и тогда под покровом тьмы и густого леса посчастливится ему скрыться.

Он продолжал, притаившись, стоять в углу барака и в два окна, справа и слева, наблюдать. Вокруг барака наступило затишье. Значит, белые бросились преследовать партизан, или же что-то замышляют другое. Прошло несколько минут зловещей тишины, и вдруг в коридоре барака послышались частые торопливые шаги. Костя невольно вздрогнул и, как бы спохватившись, повернулся, выпалил из винтовки наугад в дверь. Белогвардейцы сшибли дверь с петель, гурьбой ворвались в Костино убежище. Он еще успел штыком уложить одного из них на грязный протоптанный пол барака. Последовал тяжелый удар прикладом по его плечу, винтовка выпала. Затем, скрутив ему руки назад, вывели Костю на улицу, обезоруженного, понуро глядевшего в землю.

Его окружило человек двадцать. Но любопытство у каждого проходило быстро: слишком юн и невзрачен был пленник. А по тому, как он рьяно отбивался, можно было думать, что белые имели дело с важной особой. Недаром английский офицер, долго стоявший в окружении белых солдат перед пленником, смачно плюнул на его выцветшую гимнастерку и, не удовлетворившись этим, ударил Костю перчаткой по щеке.

Костя злобно взглянул на офицера, без робости и дрожи в голосе, резко проговорил:

— Но, но, не драться! Кончай бы-де скорей...

И больше ни слова. Он редко и тяжело вздыхал, сидя на траве близ дороги, а вокруг него стояли с винчестерами наперевес белогвардейцы.

Изредка Костя поглядывал на солнце, оно шло к закату; быть может, последний раз он видит солнце; в этом, пожалуй, нет никаких сомнений.

Откуда-то прибыло восемь повозок. Упитанные кулацкие лошади были запряжены в них. Пять повозок наполнили трупами белых. Их клали вдоль, головами в разные стороны. Мертвецов провезли мимо Кости в ту сторону, откуда появились они живыми. Костя, проводив их взглядом, с усмешкой спросил свою охрану:

— Однако меня с ними не зареете? От вас ведь всего можно ожидать.

Офицер попросил перевести то, что сказал пленник. Перевели, офицер мотнул головой и отошел к двум повозкам; в них были положены на ржаную солому тяжело раненные интервенты. Морщась, о чем-то он поговорил с ними, быть может, обещал награду, либо, в случае их смерти, — сообщить родственникам в королевскую Англию. Но от этого им не полегчало.

Восьмая телега была предназначена для захваченного в плен партизана.

\*

Крепко стянули веревками руки Косте Герасимову и, привязав его к телеге, гнали за лошадью до самой контрразведки. Его били, плевали ему в лицо, но все же дивились мужеству и стойкости красного героя.

В Онеге его держали несколько суток в тюрьме, а затем белогвардейцы вызвали мать Кости Герасимова и сказали, что ее сын-большевик будет отправлен в Архангельск для дальнейших допросов и вынесения ему сурового приговора.

Под усиленным конвоем белогвардейцы провели Костю к пристани. Здесь ему было дано последнее свидание с матерью. Старушку уговаривали повлиять на своего сына и помочь сломить его богатырскую волю, запятнать его геройскую честь. Она поверила лживым обещаниям палачей-интервентов, со слезами, прощаясь с сыном, говорила ему:

— Костенька, ведь ты такой молоденький, попроси у них прощения, может, помилуют...

Посмотрел Костя на мать усталым взглядом, вздохнул тяжело.

— Эх, мама, натерпелся я от них за эти дни, ни о каком помиловании и речи быть не может; да и вообще я с этими сволочами (он кивнул головой в сторону интервентов-офицеров) не хочу разговаривать. А тебя, мама, жаль: ты и больше моего жила, но меньше моего поняла жизнь. Я знаю, они увозят меня, чтобы казнить... Что ж, пусть убьют, растерзают, это в их власти, на это они мастера, но пусть помнят, что моя жизнь им досталась не даром, я уложил порядочно этих гадов. Желая, чтобы мои товарищи, красивые партизаны, сделали еще больше...

Ему не дали договорить; подталкивая прикладами и пинками, белогвардейские палачи провели Костю по трапу на палубу „Поньги“. Вслед за конвоем, состоявшим из русских белогвардейцев и англо-французских солдат, прошли на пароход офицеры-интервенты.

Пароход уходил в даль Онежского залива, а несчастная мать (о, нет, — счастливая мать, имевшая такого героя-сына!) стояла на берегу и с плачем, сорвав с головы красную повязку, махала ею, посылая прощальный привет своему ненаглядному Косте.

Пароход скрылся из виду, лишь где-то на беломорском горизонте стлался его дымок. И тогда на палубе „Поньги“, как рассказывали потом очевидцы-матросы, произошло следующее: из надпалубной каюты прошли на корму парохода подвыпившие английские контрразведчики. Они приказали конвоирам завязать глаза пленному коммунару. Костя не сопротивлялся, только сказал палачам:

— Напрасно стараетесь, господа, поберегли бы эту тряпку для себя, может, еще самим пригодится, а я и без повязки...

Но ему завязали глаза, затем осторожно вывели за барьер и поставили на край палубы, дабы, пронизанный пулями, он упал в море.

Три конвоира — английский, французский и русский — с винтовками стояли против пленника. Семь офицеров,

стояли сбоку, восьмой стал поодаль, чтобы сфотографировать сцену расстрела. Приготовления шли медленно, очевидно, это тешило интервентов.

Костя Герасимов жил последние минуты. В расстегнутой рубашке, без пояса, в серой из солдатского сукна кепи, он стоял у самого борта, сохраняя спокойствие и выдержку, и, хотя его глаза были завязаны, он знал, что смерть неизбежна. Гордо подняв голову, он ждал ее, и минуты казались бесконечными. Дрогнули руки палачей. Вразброд треснули три выстрела. Раненый герой упал за борт в холодные беломорские волны. Пароход шел полным ходом, оставляя за собою пенистый след. Офицеры, посмотрев за борт, к своему немалому удивлению заметили, что их жертва еще не добита.

Герасимов не пошел ко дну, а, насколько хватало сил, как хороший испытанный пловец, держался на поверхности, он даже сорвал повязку с головы и видимо еще не терял последней надежды на спасение. Ведь умирать ему было еще так рано!..

Офицеры вырвали из рук конвоиров винтовки и открыли беспорядочную стрельбу в раненого пловца.

Волны Белого моря навсегда приняли славного героя Костю Герасимова, онежского красного партизана.

## Разведчики

В белогвардейском тылу, в деревне Глухове, Городецкого сельсовета, проживал бедняк Семен Кузьмич.

Можно себе представить, какова была его жизнь; единственного сына у Семена Кузьмича убили интервенты, а племянника-сироту, воспитанного Семеном, расстреляли белогвардейцы. Самого Семена не раз таскали в контрразведку. Он видел перед собою брюзжавшего белого офицера. Офицер то вкрадчиво лебезил перед стариком, то вдруг неожиданно вскакивал, топал ногами, бил кулаком по столу так, что прыгали на столе канцелярские принадлежности.

Но что взять со старого Семена Кузьмича? Он стоял забитый, печальный и говорил дрожащим голосом лишь одно:

— Господин начальник, зачем вы на меня кипятитесь и против меня, старика, сердце имеете? Я разве виноват, что породил такого сына, которого вы же и убили; разве я виноват, что воспитал сироту племянша со младенчества, которого вы тоже убили...

Старик закрывал глаза рукой и горько плакал.

Его отпускали, беспомощного и униженного. Придя домой, он залезал на полати, наглухо окутывался старым потрепанным тулупом, ворочался с боку на бок, пытался уснуть и во сне забыть все невзгоды.

Но ему не спалось. Кряхтя, он слезал с полатей и становился на колени перед образами. Иконы были старинного письма, тусклые, засиженные мухами, и по ним ползали бурые тараканы.

Никакие молитвы не шли в голову Семену Кузьмичу. Да и не было таких молитв ни в одном поповском молитвеннике, ни в одном часослове, какие были нужны ему. Долго молча Семен всматривался в тощие лики святых и неожиданно для себя начинал так:

— Господи-сусе христе, если ты есть на самом деле, то оглянись на нас, бедных. Посмотри, что творится вокруг по нашей волости. Понаехали заморские нехристи-интервенты, грабят нас, издеваются, убивают, кого попало. Господи, оглянись... да помоги красным вытряхнуть их за Белое морюшко...

Сомневаясь в силе своей молитвы и вообще не надеясь на помощь божию, Семен Кузьмич поднимался с пола и машинально, истово крестясь, отворачивался от домашнего невзрачного иконостаса...

Вскоре после того, как он вернулся из контрразведки, к нему постучали в дверь. Семен вздрогнул: — „уж не за мной ли опять, да хоть наконец от меня-то сволочи отвязались бы“.

Дверь запиралась просто: в железную скобу просовывался наискось ухват; Семен вытащил ухват и, не открывая двери, громко сказал:

— Ну, кто там крещеный, дергай сильней!

В избу вошел рассыльный из штаба белых, он принес извещение о том, что Семену Кузьмичу „вместе с его лошадью вменяется в неуклонную обязанность явиться в распоряжение штаба для перевозки грузов особого назначения“. Семен буркнул:

— Видно заездить хотят меня вместе с конем, а знали бы дьяволы, что можно на моей лошаденке увезти, — дай бог пудов десять, вот ей и воз.

Таким образом Семен Кузьмич поступил в белогвардейский обоз. Куда пошлют, туда и едет, что погрузят, то и везет. И так изо дня в день всю осень восемнадцатого года.

Однажды Семен Кузьмич очень измучился. Он вез тогда ящики с патронами под Турчасово. Лошади побойчей шли впереди, на порядочном расстоянии от его повозки; в буре у Семеновой телеги сломалась ось.

Семен закричал вслед обозу. Обоз остановился. Сопровождавшие солдаты приказали ему ящики с патронами переложить на другие повозки, а самого Семена с лошадью отпустили домой, посоветовав сделать ось покрепче, березовую, иначе не возникло бы подозрение о его нерадивости к службе, и тогда ему не поздоровится.

Семен Кузьмич просунул вместо оси жердочку и с большим трудом добрался до своей деревни. Вечером он стал мастерить ось.

Поздно, в деревне уже спать все легли, а Семен, при тусклом свете копилки, постукивал слегка топором и сглаживал скоблем зарубины.

На улице осенняя слякоть перемешалась с непроглядной ночью. За окном слышался скрип телег, — то возвращались запоздавшие обозники. Наконец все стихло; тараканы шуршали в избе, да по соломенной крыше еле слышно моросил, как из сита, мелкий, частый дождичек.

Вдруг Семен Кузьмич услышал, как кто-то подкрался под окна его избы и осторожно постучал по стеклу пальцами. Насторожился Семен, ждет. С улицы послышался сдержанный отчетливый голос:

— Эй, старина! Фронт близко. Сейчас же завешай окна, не то стрелять буду!..

Семен засуетился. Достал с полатей соломенный тюфяк, сунул его в одно окно; тулупом завесил другое, третье — закрыл скатертью и, вдобавок, увернул наполовину фитиль у лампы. В избе стало полутемно.

Семен стоял посреди пола с топором в руке и думал: „Часовой, что ли, заметил огонек-то; а голос будто знакомый, где я его слышал? У Андрюшки голос схожий с этим. Ну, да не он это, откуда ему взяться?.. Вспомнил тут Семен Кузьмич Андрея — одного из близких товарищей его убитого сына.

Андрей — славный парень; родился он в деревне Амоховской от бедняков. Юношеские годы на онежских заводах лес пилил. В германскую войну служил он в Сибирском полку под Ригой. Мало повоевал, дезертировал в шестнадцатом году, не захотев страдать „за веру и царя“.

Целый год Андрей мотался по деревням. Тщетно охотился за ним урядник. Андрей был неуловим. Объявился он в семнадцатом году в Онеге и одним из первых вступил в Красную гвардию. После занятия Онеги интервентами, он и ушел с красногвардейцами... „Нет, это не его голос, — продолжал думать Семен Кузьмич, — появиться Андрюшке нельзя в здешних местах, голову ему срежут...“

Едва Семен наклонился с топором над осью, кто-то постучал в дверь.

— Кого это леший носит в такую пору?! — сердито проворчал он, по обыкновению не отпирая сразу. Держа в руке неуклюжий, но остро отточенный топор, Семен приблизился к двери.

— Открывай, Семен Кузьмич, открывай!

— Да что это? И в самом деле, кажись, Андрюшка!

— Ну, ну, Семен Кузьмич, потише нельзя ли. Пропусти.

Перед Семеном взаправду очутился бывший онежский красногвардеец. Этим летом, он вместе с товарищами при отступлении из Онеги отчаянно отбивался от интервентов,

а тут,— пожалуйста,— как из-под земли вырос. Одет он был в новенькую английскую шинель, и все прочее на нем было в точности по белогвардейской форме. Семен недоумевал:

— Андрияша, что бы это значило? Ужели и ты на белую сторону перекатился? Ну, и времечко началось, не поймешь,— где враг, где друг?

— Эх, дядя Семен, если не поймешь, так распознаешь. Я вот пришел к тебе... я надеюсь на тебя... Меня послали сюда, конечно, красные. Ты один дома?

— А кому же быть теперь со мной?— тяжело вздохнул Семен,— и сына и племянника белые убили.

— Слышал я,— мрачно отозвался Андрей и на минуту замолк.

— Это ты напугал меня, окна-то велел завесить?— спросил Семен Кузьмич после непродолжительного молчанья.

— А ты не узнал меня по голосу, что ли?

— Догадывался и своим ушам не верил.

— Оно лучше с завешенными-то окнами, надежней; хорошо и сделал, что послушал сразу, иначе неудобно было бы к тебе заходить. А теперь поговорим.

— Давай, поговорим,— согласился Семен Кузьмич и при-  
мостился на лавку возле Андрея, предложив ему раздеться.

Андрей скинул с себя английскую солдатскую сумку и шинель. Френч на нем был тоже английский. Из-за пояса торчал наган, боковые карманы разбухли от круглых гранат системы Мильса.

— Ну, вот, Семен Кузьмич, давай говорить напрямик... Ты с кем?..

— Да как тебе сказать— не соврать, с кем я! Душой — с красными, с большевиками, а на факте, сам суди: вместе с лошадью вынуждают помогать белым.

— У них в обозе работаешь? Ну, что ж, хорошо.

Семен Кузьмич подозрительно поглядел на Андрея, отодвинулся от него немного и спросил:

— Не понимаю тебя, скажи на милость, чего хорошего-то?

— Для дела это полезно.

— Для какого дела? Да будь они прокляты!.. Вот еду бывало с возом, везу к фронту ящики, не знаю, с чем везу, может—печенье, а может—бомбы; везу и думаю: эх, кабы мне лошадь побыстрее да побойчей! Вырвался бы в ночную пору, обогнул бы фронт где-нибудь да к красным со всем возом и переехал бы. Терять мне, кроме этой душевной избенки, нечего... Или иногда, как увижу—около нас разъезжает тут ихний офицер, набольший по батальону,

фамилия его Филиппс, — подлец, какого свет не видал, — ну, понимаешь, Андрей, как увижу я этого Филиппса, так поджилки и затрясутся, а рука к топору тянется; перерубить бы им, сволочам, хребты и сказать: не суйтесь, мол, на нашу землю. Союзнички, каратели!.. Когда же, Андрюша, вы их все-таки выпихнете отсюда? — спросил Семен Кузьмич, пощипал чахлую бороденку и замолк.

Настроение Семёна Кузьмича понравилось Андрею. Агитировать его не было нужды. Он понимал ровно столько, сколько следовало: кровно ненавидел врагов советской власти.

Андрей долго беседовал с ним, говорил о том, что значит для интервентов неблагонадежный тыл, как надо узнавать и запоминать все сведения о войсках интервентов и белых, а, работая в белогвардейском обозе, знать можно многое и большую пользу можно принести Красной армии. Тут же, задавая вопросы Семену Кузьмичу, он записывал его ответы:

„На-днях провезли к Турчасову, в рошу, шесть пушек, с ними двенадцать возов ящиков разной величины..

„Севернее Глухова и Городца расположены в резерве англичане, около трехсот человек..

„Белые солдаты и крестьяне не имеют правильного представления о Советской России, — записывал Андрей, — в архангельских газетах эсеры, меньшевики врут без зазрения совести, им верят разве только самые отсталые элементы. Надо больше сюда советских листовок, газет..“

И еще много кое-чего записал Андрей, потом он вырвал из книжки листочек, тщательно свернул его и спрятал в козырек фуражки.

Семен Кузьмич с большим любопытством наблюдал за ним и спросил:

— Думаешь, поймают и не найдут?

— Да, думаю, что и не поймают и не найдут, — уверенно сказал Андрей, — в противном случае дешево я им не достанусь.

— Смелая у тебя башка, Андрей.

— Такая нужна. Но и ты, Семен Кузьмич, не будь трусом. Я верю, предателем ты не будешь. Но будь еще крайне осторожным. Никому не сболтни, что меня видел и что будешь помогать красной разведке. Я пришел к тебе в первый, но не в последний раз. Будь внимателен, все запоминай, однако не записывай и не расспрашивай никого, иначе любопытство твое будет подозрительно, — и сам под пулю попадешь, и нашу разведку засыплешь..

Семен Кузьмич долго слушал Андрея с затаенным дыханием и вымолвил наконец:

— Дело ты мне доверяешь, Андрюша, серьезное. Жаль, годы-то мои не молодые. Я бы тогда кое-что больше наделал.

— Ничего, ничего, Семен, обо всем узнавай да на ус мотай. Многого с тебя не спросим. Да, еще вот, — спохватился Андрей, вытаскивая из-за пазухи пачку бумаг, — тут обращения к обманутым солдатам-интервентам. Надо эти бумажки рассовать всюду, где бывают солдаты, где бывает скопление народа. Да не читай их сейчас, я спешу, после прочтешь...

Семен Кузьмич свернул листовки и спрятал их на полку за икону соловецких угодников Зосимы и Савватия.

— Пусть боги хранят до завтра, — сказал он, — а завтра для этих грамоток я найду место.

И хотя Андрей, видимо, спешил, посматривая то и дело на часы, но еще рассказал Семену Кузьмичу, как красные под деревней Каской, в онежском направлении, разбили белых; как в Чунове геройски погиб онежанин-партизан Костя Герасимов. Но тут Семен Кузьмич оказался осведомленнее Андрея, он, перебивая его, уточнил:

— Нет, не так было; Герасимов пощелкал интервентов крепко, это верно, но он погиб не в Чунове. Его издевательски тащили за повозкой до Онеги и там, говорят, расстреляли.

— Боевой был, жаль парня, — заключил Андрей. — Пленные беляки нам передавали, что он один сумел перебить человек десять интервентов. Ну, Семен Кузьмич, мне пора идти. Вот еще тебе от красного командира пенсия за твоего сына.

Андрей подал Семену тысячу рублей [николаевскими кредитками. Правда, по ту сторону фронта на советской стороне „николаевки“ не имели хождения; разве спекулянты мешочники, охочие до легкой наживы, и не верившие в прочность советской власти кулаки, прятали эти „николаевки“. У белых же царские бумажки были в обращении.

— Только предупреждаю, — строго сказал Андрей, погрозив пальцем, — деньги эти расходуй умело. Поблизости ничего на них не покупай, не то заподозрят и могут спросить — откуда взял деньги?..

Семен Кузьмич в деньгах нуждался.

— Были бы деньги, а для них у меня дыр много, и тратить буду только в Емцах, верст за сто отсюда. Спасибо, Андрей, счастливо тебе орудовать. Когда ждать прикажешь?

— Не позже, как через недельку.

Наутро — ни свет ни заря Семен слез с полатей, зажег лампу, потом надумал прочесть одну из листовок. Все они были одинаковы по размеру и содержанию.

В заголовке значилось:

„Открытое письмо союзникам царя Николая II и Керенского“.

— Вот чьи союзнички-то! — прошептал Семен и начал читать.

Прочитав обращение к интервентам, Семен вздохнул, положил листовку на стол, бережно разгладил ее и, ударив слегка по столу ладонью, сказал, словно обращаясь к кому-то:

— Складное письмо! Справедливое, по нему видать, у большевиков дела не так-то уж плохи, как мелют про это архангельские газеты. Спасибо, Андрюшка, ай, молодец! А за мной дело не станет, не смотри, что я стар, я постараюсь. Без пользы не дам пропасть ни единому листочку. Да я их в обозе в белогвардейские ящики в щели наую, в церкви на паперти расклею. Читайте, православные. Вот вам правильное, задушевное большевистское слово. Вот вам, интервенты проклятые, — подавитесь!..

\*

Андрей был смелый и опытный разведчик. В тылу белых он появлялся довольно часто и всегда возвращался в штаб онежской боевой колонны с богатыми сведениями о расположении интервентов, о их численности, о вооруженности и даже о намерениях белогвардейского руководства и о политических настроениях солдат.

Разведывательная служба его увлекала; правда, инструктаж был недостаточный, но выручала часто обыкновенная русская смекалка.

В студеную декабрьскую пору, как всегда, ночью Андрей пришел вдвоем с товарищем к Семену Кузьмичу.

Отогрелись, отдохнули. Андрей сказал товарищу:

— Я посижу здесь, побеседую с хозяином, а ты, Миша, ступай в Камениху, свяжись с известным тебе крестьянином и постарайся как можно больше от него узнать.

Второй разведчик, названный Мишей, стал собираться в соседнюю деревню. Тогда Семен, не подозревая, к кому собирается Миша, вмешался в их разговор:

— В Каменихе тут на-днях с одним подвозчиком несчастье случилось.

— С кем, какое? — нетерпеливо спросил Андрей, и оба с Мишей насторожились.

— Да вот, был там беднячок, с такой, между прочим, нехорошей фамилией, — Негодяев Федор. Его контрразведка арестовала и, сказывают, уже в каторжную тюрьму направила.

Андрей и Миша переглянулись.

— Неприятная весть, — печально промолвил Андрей, — выходит, тебе, Миша, в Камениху и итти незачем; крой тогда в деревню Фехтальму и оттуда, не заходя сюда, можешь итти к своим.

Миша был также местный, знал все ходы и выходы, попасть к своим в обстановке онежского фронта большого труда ему не стоило. Да и линии фронта, в обычном смысле этого слова, с бесконечными окопами и проволочными заграждениями, здесь не было.

Укрепления возводились в отдельных населенных пунктах по тракту от Онеги к Обозерской. С „флангов“ лесами и болотами, на лыжах по снегу разведчикам, хорошо знающим местность, ходить было очень доступно.

Андрей наказывал Мише:

— Вожак белогвардейских кулацких головорезов Махнов — уроженец из Фехтальмы. У себя в деревне он бывает. По имеющимся сведениям, он любит смачивать себе глотку английской горькой, а когда выпьет, язык у него становится болтлив, как у базарной торговки. Обрати, Миша, на это внимание. Часто бывает, что из хвастливой болтовни можно извлечь пользу, а нам это и надо.

Семен Кузьмич сказал как бы между прочим:

— Что верно, то верно. Этот бандит Махнов любит похвалиться. В Ниголу-зимнего он пьянствовал вместе с офицером и, говорят, клялся и божился, что на рождество разобьет красных в Турчасове. — И, пожалуй, болтовня Махнова не зря ума: на двадцатое декабря им понадобится шестьдесят подвод, к каждой для охраны будет приставлено по одному белогвардейцу.

— Ну, вот видишь, Миша, к таким заявлениям как не прислушаться, надо все такое на ус мотать, — между хвастовством Махнова и потребностью в шестидесяти подводах есть что-то общее, — утвердительно произнес Андрей, — и, надо полагать, обоз пойдет из белогвардейского тыла в направлении к Турчасову.

— Очевидно, так, — согласился Миша. — Отсюда какой вывод?

— О выводах после, а вот ты сумей проверить в Фехтальме эти сведения...

Оставшись вдвоем с Семеном Кузьмичом, Андрей спросил его подробно, когда, от кого, при каких обстоятельствах он узнал о хвастовстве Махнова и о шестидесяти подводах.

— А не известно ли тебе, за что попал Негодяев Федор в контрразведку?— после некоторого раздумья спросил еще Андрей.

— Да как сказать? Люди бают, что попал за неосторожное слово. Ехал Федор будто бы порожняком со станции. Вина нигде не достать за дешевку, а он подвыпивши едет и песенку такую поет:

Ты играй, играй, тальянка,  
Знай, наяривай, играй,  
Проститутка англичанка,  
Из Онеги удирай...

— Попутчики его спросили: „Ты что, Федор, очень весел, где наклевался, откуда деньги берешь?“ А его точно чорт дернул за язык; хлопнул себя по карману и говорит: „У красных николаевского кредиту хватит“. Только и сказал, хоть бы слово больше...

— Сказал он немного, но достаточно, да и спел подходяще для того, чтобы ему не быть уже на свете,— промолвил Андрей. — Вот видишь, Семен Кузьмич, в нашем деле осторожность какая нужна; бескорыстная преданность советской власти нужна, да еще уши подлинней, а язычок покороче, не то язык вместе с головой потерять недолго.

— Что верно, то верно,— согласился Семен,— а я не пьющий, за себя ручаюсь.

— Главное, не навлекай на себя подозрения. Увязнет кто-то — пропадать всей птичке. Почему я к тебе пришел в тот раз, почему я тебе доверил такое ответственное дело, доверил себя, доверил нашу красную разведку? Да стало быть я верю тебе, Семен Кузьмич: такие, как ты, своих не продадут... У нас был такой случай: по ту сторону фронта, под Вологдой, крестьянин Александр Савин поймал крупного белогвардейского шпиона Куроченкова, бывшего командира „батальона смерти“. Шпион давал ему 40 000 рублей, отпусти только. Савина это еще больше задело. „Ах, ты,— говорит,— мерзость такая! Плохо ты знаешь меня, если вздумал за деньги купить“. Разоружил он шпиона и доставил его в исполком; Савина, конечно, наградили за это.

— Не в наградах, Андрюша, дело, а верно ты сказал: в преданности своей советской власти. Известно, чем

пришли порадовать нас эти стервы заморские: лес наш дарма хапают, скот у крестьян уводят; строят только тюрьмы и битком их набили — кем? Да все нашим братом мужиком да рабочими... Савин, говоришь, отказался от со-рока тысяч. А вот не хвастаюсь, Андрияша, сказали бы мне — измени большевикам, вот тебе возвращаем живого сына (это я говорю к примеру), и тогда бы не задумался, сказал бы: катитесь вы...

Часа за два до рассвета Семен Кузьмич вышел с ведрами. В деревне все спали, на улице ни души. Семен вернулся в избу.

— Снег не выпал сегодня? — озабоченно спросил его Андрей.

— Нет, ночью не порошило. Пройдешь — и следов не заметят.

— Мне бы добраться до сараев, а там есть лыжи — спрятаны.

Андрей проверил наган, потрогал гранаты в карманах и, простившись с Семеном, вышел. На пути к своим в Турчасово он тщательно обдумывал план нападения на обоз из засады. Завтра двадцатое. Обоз пойдет под усиленной охраной, значит с боевыми припасами и продовольствием для батальона англичан и местных белогардов. Но почему не догадался спросить Семена о том, как обычно белогвардейцы сопровождают обозы? То ли на каждом возу сидит беляк вроде собаки и охраняет его, или же охрана идет позади скопом?.. Пожалуй, последнее. Ведь цель их — охранять обоз от красных партизан; значит для удобства действий они наверняка предпочтут быть все вместе? „Но как бы ни было — поставлю вопрос перед комбатом о нападении на обоз из засады“, — решил про себя Андрей и, скользя лыжами по рыхлому снегу, обходом, поспешил к своим, пока не настал день...

Вечером из онежской боевой колонны было выделено шестьдесят лыжников — красных партизан.

Боевые ребята, отличные стрелки, пробрались в белогвардейский тыл и засели в лесу по обеим сторонам зимней проселочной дороги. Впереди, по направлению к Турчасову, партизаны выставили небольшой заслон, чтобы в случае боя обоз задержать на месте.

Боевая операция красным партизанам удалась вполне. Белогвардейская охрана, шедшая позади обоза, легла под ружейным огнем. Извозчики, оставив обоз, бросились бежать в противоположную сторону леса. Обоз из шестидесяти подвод с продовольствием и боеприпасами с на-

лету был захвачен полностью и окольными путями переправлен на сторону красных. Оружие с убитых белогвардейцев было также снято, не оставляя же его интервентам.

Белые части, рассчитывавшие на рождество взять Турчасово, потерпев поражение в тылу и оставшись без боеприпасов, были вынуждены отступить. Клятва белобандита Махнова оказалась впустую...

После захвата красными партизанами белогвардейского обоза прошло несколько недель.

Семен Кузьмич ждал к себе разведчика Андрея.

Фронт попрежнему проходил в той же местности, и Семену было о чем предупредить красную разведку. Семен Кузьмич теперь умел подмечать все мелочи и научился строить по ним безошибочно предположения и выводы. Но Андрей не появлялся, и не с кем было Семену поделиться своими наблюдениями. А между тем с Андреем произошло следующее:

Отряд красноармейцев и партизан передвигался вблизи от фронта. Было затишье, опасности не предвиделось. Но интервенты заметили движение красных и открыли артиллерийский огонь. Первый же снаряд взорвался не дальше трех шагов от Андрея. Вспыхнул столб пламени. Взрыва Андрей не помнит, настолько сильна была контузия. Его отбросило в сторону за четыре сажени. Полсутки он лежал без чувств. К счастью, осколки снаряда его не задели. В лазарете пришлось пробыть несколько недель. После выздоровления Андрей снова вступил в строй и не раз отличился в боях с интервентами и белогвардейцами...

В день десятилетия Рабоче-Крестьянской Красной Армии Андрей был награжден орденом Красного Знамени за геройство, проявленное им на Северном фронте гражданской войны.

## Хаджи-Мурат

Про Хаджи-Мурата говорят, что он не отличается скромностью. Будто бы, рассказывая о себе и своих прошлых боевых днях, он непрочь подчеркнуть жирной чертой свою роль на боевых участках гражданской войны.

Это не так. Хаджи-Мурат любит поделиться своими воспоминаниями о героических буднях гражданской войны на севере и о своем дореволюционном прошлом, ибо жизнь его на редкость богата приключениями и революционной романтикой. Хаджи-Мурату есть что рассказать о своих деяниях. Старого вояку-героя нельзя заподозрить в преувеличении, когда он говорит о своих подвигах.

Когда я написал этот несложный краткий очерк и спросил героя, — какое заглавие дать очерку, — Хаджи-Мурат посидел недолго в раздумьи, развел руками и посоветовал:

— Моя голова так думает: назови свой рассказ такими словами: „Хаджи-Мурат Дзарахохов — страшный враг капитализма, ленинский борец“, и еще бы на коне меня изобразить с шашкой и трубка в зубах. Я таким летал со своими орлятами...

Помнят и знают повсюду, где он проходил со своим партизанским отрядом, разбивая северную белогвардейщину и интервентов...

Хаджи-Мурат Дзарахохов родился в 1875 году.

В 1905 году, после столкновения с местной полицией, он эмигрировал в Америку. Там работал на постройке железной дороги, а на судостроительном заводе — клепальщиком. Работал в Сан-Франциско, Вашингтоне и на Аляске на золотых приисках.

В империалистскую войну, находясь в России, он был мобилизован на службу в татарский полк Кавказской Туземной Дикой дивизии.

В корниловские дни, когда туземная дивизия была двинута на Петроград, Хаджи-Мурат организовал переход 350 всадников на сторону революционных войск.

Хаджи-Мурат честен и смел. Это он в Зимнем дворце на приеме у Керенского (после перехода с отрядом из Дикой дивизии на сторону революционных войск) бросил в лицо главе Временного правительства: „Ты изменник делу революции! Ты не имеешь права носить на себе форму кавказского освобожденного народа. Позор тебе, предателю!“— и, хлопнув дверью, вышел.

На другой день продажные писаки сообщали в газетах, будто „премьер-министр принял взволнованного командира Туземного отряда и дружески успокоил его“(?!).

С этих дней Хаджи-Мурат становится сочувствующим большевикам.

В сентябре 1917 года Хаджи-Мурат скрывается в Кронштадте и делает там доклад Совету рабочих депутатов. Совет постановляет: „Отряд Хаджи-Мурата перевести в форт Красная Горка, командиру предложить уйти в подполье“.

В Октябрьском перевороте Хаджи-Мурат выступает с отрядом всадников против Керенского; в бывшем Царском Селе принимает командование над батальоном революционных войск. Вместе с секретарем парторганизации Хаджи-Мурат был взят в плен войсками Керенского. В этот же день он бежал из плена и вновь повел удачное наступление на войска Керенского с Пулковской горы.

На станции Александровской его отряд захватил эшелон Сибирского кавалерийского полка и разбил юнкеров. Из Царского Села с петроградскими рабочими и матросами Хаджи-Мурат направился в Гатчину, занял станцию и дворец, был участником ареста генерала Краснова...

После убийства генерала Духонина Хаджи-Мурат со своим отрядом принял активное участие в подавлении контрреволюционных восстаний в Могилеве и Быхове.

Хаджи-Мурат был избран командиром 1-го Петроградского отряда и командиром отряда матросов. В бою у Верхней Тощицы его бойцы разоружили польских легионеров, захватив их в плен вместе со штабом полка. Там же они произвели несколько удачных набегов и отбили атаку конного полка. Большой обоз и склады попали в руки революционного отряда Хаджи-Мурата. По прибытии Хаджи-Мурата в Петроград его собирались назначить комиссаром кавалерийских частей Петроградского округа.

— Я человек малограмотный, — говорил Хаджи-Мурат, — лучше оставьте меня на фронте. Чужой головой, чужими глазами и руками не сумею такое дело вести. Дайте мне работать на фронте.

Его послали на финляндский фронт на выручку осажденных революционных частей. Здесь отряд Хаджи-Мурата прорвал вражеское кольцо и дал возможность выбившимся из сил революционным войскам выбраться без потерь.

1918 год.

В Архангельске высадились интервенты. Немногочисленные отряды красных отступали по Северной Двине и в направлении железной дороги. Организованной для отпора белогвардейцам и интервентам бригаде грозила опасность быть отрезанной со стороны Верхней Тоймы.

Реввоенсовет армии просил военного комиссара Петроградского округа прислать на Северный фронт кавалерийскую часть.

Тогда явился Хаджи-Мурат с небольшим, но крепко сплоченным отрядом в 25 сабель. Отряд высадился на станции Плесецкой.

В первые дни Хаджи-Мурата постигла неприятность, подготовленная белогвардейскими провокаторами. Отряд, состоявший из чеченцев и петроградских рабочих, расположился в вагонах. Кони паслись неподалеку. Вдруг Хаджи-Мурат получает известие:

— Кони пропали!..

— Куда?

— Неизвестно. Какой-то тип на мотоциклете направил всех лошадей в каргопольскую глушь.

— Гм, я кавказский орел, и мои орлята без лошадей плохие вояки.

Не одни сутки искал Хаджи-Мурат лошадей своего отряда. Скитался по деревням, лесам, поскотинам, подошел к Олонецкой губернии. Наконец вернулся на Плесецкую с конями.

Во время его отсутствия кто-то пустил среди отряда провокационный слух:

— Ваш Хаджи-Мурат перешел на сторону белых; стоит ли вам доверять оружие...

И, как рассказывает сам Хаджи-Мурат, в его отряде было обезоружено несколько человек. Их всех отвезли в штаб, в Вологду.

Провокаторы были найдены и наказаны, а Хаджи-Мурат с кавалерийским отрядом переброшен на более серьезный участок котласского направления Северного фронта.

Здесь Хаджи-Мурату сразу дали задание произвести набег на Малый Городок и Сельцо. Там были возведены зимние укрепления и размещен штаб англо-американцев.

Отряд был невелик, всего 25 бойцов, а задача — серьезная: застигнуть противника врасплох и обратить его в бегство.

— Сколько твоему отряду в помощь нужно людей? — спросили в штабе Хаджи-Мурата, когда тот познакомился с местностью и силами противника.

— Нас 25 всадников, дайте еще 70 человек.

— Что-о? 95 бойцов? И вы думаете справиться? Ведь силы противника около 1500 человек!

95 бойцов, из них 70 партизан-добровольцев, откликнувшихся на вызов Хаджи-Мурата, пошли в наступление.

14 октября они неожиданно, обходом, нагрянули на Сельцо. Открыли ураганный огонь. Можно было подумать, что наступает крупная часть красных войск. Белые и англичане в панике бросились отступать, оставив орудия, запасы продовольствия и пленных.

Зимние укрепления белых взяты. Красные войска продвинулись на 100 километров вперед. Белые начали укрепляться в Тулгасе.

Через неделю в распоряжение Хаджи-Мурата передали еще два отряда кvasноармейцев.

22 октября красные под командой Хаджи-Мурата нагрянули на белогвардейский Тулгас. Завязался бой.

Начальник пулеметной команды Зелинский был убит в этом бою. Сам Хаджи-Мурат, раненный в ногу, находился в строю и после боя направился на излечение не в лазарет, а к себе в обоз.

На костылях, бородатый, в потрепанной старой черкеске, он налаживал дела отряда, подготавливаясь к рейдам в глубокий тыл противника.

Отряд представлял собой сборный кавалерийский эскадрон со вспомогательными пешими бойцами из нескольких чеченцев, петроградских рабочих, балтийских матросов и местных красных партизан. Большинство из них были коммунисты.

Декабрь. Обычные северные морозы.

Отряд Хаджи-Мурата в красноборском клубе ставил какой-то незатейливый спектакль.

Не успели кончить последнего действия, — из штаба дивизии приказ: „Утром выступить в Шенкурск, выбить засевшего там противника“.

Отдельные части красных войск уже выступили по направлению к Шенкурску.

Хаджи-Мурат в штабе. Разговор о наступлении на белых:

— Хорошо бы Хаджи-Мурата двинуть на Шенкурск,— говорит командир,— жаль только, он ранен.

Хаджи-Мурат бросает костыли:

— Я ношу эти палки, чтобы не портить рану. Я еду на Шенкурск!

— Назначим комиссию, можно ли тебе ехать,— комиссия определит.

— Зачем комиссия? Меня доктор не лечил, я сам себя лечил, я сам себе комиссия. Еду на Шенкурск!

И утром выступил впереди отряда.

Расстояние 200 километров.

Мороз, глубокие снега. Лошади выбились из сил. Люди тоже устали.

Хаджи-Мурат сходил с лошади, подпираясь палкой, обходил отряды, ободрял „орлят“ (так называл он бойцов кавалерийского эскадрона).

— Отдохнули? Давайте на Шенкурск!

Взяв Шенкурск, на третьи сутки двинулись вышибать белых из Шеговар.

Тут Хаджи Мурат узнал о ловушке, устроенной белыми, и без потерь отступил, заняв удобную позицию.

Около двух месяцев не было боев. Хаджи-Мурат в это время следил за действиями красных разведчиков и обучал бойцов маскировке.

Потом, обходом через тыл неприятеля, красные начали наступать на Усть-Вагу.

Вслед за отрядом Хаджи-Мурата наступал батальон 157-го полка.

Вдруг комбат отдает приказ:

— Отступить!

Хаджи-Мурат подъезжает к комбату:

— Что ты делаешь? Тебе дали две тысячи людей под команду, да я бы тебе двумя курицами не дал командовать!

Все-таки отступили, это требовалось по соображениям высшего командования.

На фронте наступило затишье. Отряд всадников разместился в местечке Неленьге.

Весна 1919 года. Разлились озера между Неленьгой и Усть-Вагой. Крестьяне из обоих лагерей сходились на озерах, ловили рыбу.

У белых был отряд из кулаков под командой бандита Ракитина. Крестьяне-рыбаки поддерживали с ними связь и, вероятно, передавали им сведения об отряде Хаджи-Мурата.

Неленьга состоит из четырех небольших смежных деревень. В крайней из них, ближе к белогвардейскому фронту, находился Хаджи-Мурат со своим штабом канцелярией. В прозрачную майскую ночь, после какого-то праздника, его ребята, погуляв в деревне с молодежью, расположились спать.

Хаджи-Мурат не спал. Полубольной, он беспокойно шагал взад и вперед по избе, ежеминутно выглядывая из окна.

В эту ночь белобандит Ракитин произвел налет на эскадрон красных бойцов.

В сотне шагов от дома, где бодрствовал командир партизанского эскадрона, стоял часовой. Ракитинцы внезапно наскочили и часового прикололи.

Хаджи-Мурат заметил это; миг, и от удара ружейным прикладом рама вылетела наружу. С подоконника Хаджи-Мурат стреляет в ракитинцев.

Выстрелы разбудили спавших бойцов. Схватив винтовки, в одном белье, они выбежали на улицу. Видя, что Хаджи-Мурат успел организовать отпор, банда Ракитина бросилась в бегство, оставив в плену 9 человек и убитых...

После эскадрон перебрасывается в Почтовое, в Морж, Селезеро, в этих местах отрядом Хаджи-Мурата производилась разведка.

За лето 1919 года белые, укрепившись, засели в Усть-Ваге, намереваясь остаться тут на зиму.

Белогвардейцами для длительной обороны были построены блиндажи. Пришлось обходом по берегу реки миновать укрепления белых, с тыла напасть на часовых и пулеметчиков.

Хаджи-Мурату удалось отрезать половину села. Несколько англичан-интервентов было захвачено им в плен. Другая половина села — в руках белогвардейцев.

— Сдавайтесь! — кричат беяки, — все равно мы вас отсюда не выпустим.

Хаджи Мурат по соседству из занятой избы отвечает интервентам на английском языке: \*

— Здесь кавказский орел. Сдавайтесь, или я вас, белых гадов, на куски изрублю. На небо лететь не сумеете, а в землю не скроетесь!.

Белые, имея численный перевес, не сдавались. После четырехчасовой перестрелки они стали обходить отряд Хаджи-

---

\* Будучи в эмиграции, Хаджи-Мурат усвоил языки английский, испанский и частично китайский.

Мурата, забрасывая бойцов гранатами. И пришлось бы красным плохо, если бы не захваченные пулеметы и не пленные англичане. Пулеметы системы Викерс, — никто из отряда обращаться с ними не умел. Тогда Хаджи-Мурат, зная английский язык, убедил пленных англичан взяться за пулеметы, а для контроля к ним определил по два своих бойца.

Стреляли не плохо.

За доблесть в боях Хаджи-Мурат получил орден Красного Знамени. Вот выдержка из постановления Реввоенсовета Армии:

„Во время боев 31 августа и 1 сентября 1919 года по реке Ваге командир N эскадрона кавалерийского дивизиона тов. Хаджи-Мурат, получив задачу произвести налет на противника, занимавшего деревню Усть-Вагу, провел данный ему отряд из эскадрона кавалерии и роты N стрелкового полка незаметными лесными тропами на 25 верст в тыл противника и неожиданным нападением захватил указанную деревню, нанеся противнику значительные потери. После прибытия к противнику подкрепления умело вывел отряд и присоединился к своим частям.

В бою 16 сентября 1919 года в деревне Усть-Ваге с вверенным ему эскадронам атаковал в три раза более сильного противника, разбил его наголову, захватив 7 пулеметов, несколько автоматов и 8 человек пленных.

За проявленную в борьбе с врагами социалистического отечества доблесть Революционный военный совет Армии постановляет: товарища Хаджи-Мурата наградить орденом Красного Знамени“.

С осени 1919 года до начала зимы серьезных схваток не было.

Деревня Средь-Мехреньга — на пути продвижения красных. В ней разместился полковник Чубашек с полком белогвардейцев.

Выбить их оттуда — не легкая задача.

В первых числах февраля отряд Хаджи-Мурата получил приказ — наступать.

Интервенты убрали свои войска, а части из русских белогвардейцев под давлением Красной Армии бежали к Архангельску.

Лишь полковник Чубашек держался в Средь-Мехреньге, да в Пинеге отсиживался генерал Петренко.

По пути в Средь-Мехреньгу отряд занял три деревни. Осталось 4 километра пройти просекой, чтобы добраться до становища полковника Чубашка. Белые, заметив наступление красных отрядов, открыли по ним артиллерийский огонь. Осколком снаряда под Хаджи-Муратом убило лошадь,

слегка ранило его шрапнелью в лицо и оторвало чубук у трубки. Он поднял над головой мундштук и пошутил:

— Братва! Смотрите-ка фасон белогвардейцев: по трубке бьют. Хорошая трубка была, лошади меньше жаль...

Из-под обстрела красные вышли в тыл белых и напали на обоз. Позади обоза шли батальон белогвардейской пехоты и эскадрон кавалерии. На помощь Хаджи-Мурату пришел тогда отряд лыжников. Белые обстреливали их из пулеметов и бомбометов. Красным удалось захватить у них 16 подвод с продовольствием и не допустить остальные подводы в Средь-Мехреньгу, где сидел Чубашек, отрезанный от тыла.

Двенадцать суток „мариновался“ полковник Чубашек в Средь-Мехреньге, не смея вылезть, так как пути отступления со всех концов были отрезаны красными.

Двенадцать суток при сорокаградусных морозах отряд Хаджи-Мурата в кольце держал Средь-Мехреньгу.

Белые, видя неминуемую гибель, заволновались. Напрасно Чубашек уговаривал их:

— Не бойтесь Хаджи-Мурата, я его хорошо знаю. Он не страшен, легко справимся. С Холмогор и Пинеги генерал Петренко шлет нам помощь...

Не выдержали белые. Около 1500 человек во главе с полковником сдались, не дождавшись помощи от генерала Петренко. Да и какая от того помощь, если около Пинеги красные отряды в ту пору „чесали“ генерала, не давая ему покоя.

В Средь-Мехреньге Хаджи-Мурат выстроил пленных белогвардейцев.

— А ну, который из вас Чубашек?

— Я Чубашек, — заявляет здоровенный детина и выходит вперед.

— Так это ты? Скажи, Чубашек, где ты меня видел, откуда ты меня лично знаешь?.. Зачем ты про меня чушь городишь своим солдатам? — начал на площади села допрашивать его Хаджи-Мурат.

— Я говорил для успокоения солдат, говорил о твоей неспособности воевать, — сознается Чубашек.

— Это нечестно с твоей стороны.

— Война, что поделаешь...

Потеряв опорный пункт Средь-Мехреньгу, белые продолжали без боя отступать на Емецк и Холмогоры. Красноармейские части уверенно продвигались вперед.

Когда красные подходили к Усть-Мехреньге, мороз достигал 44 градусов. Деревня, переполненная белогвардейцами, была расположена на высокой, неприступной горе.

Белые установили пулеметы в банях. Мороз не мешал им обстреливать наступающие красноармейские и партизанские части. У наступающих на морозе пулеметы отказывались работать. А белые сыпали градом пуль.

Однако стреляли не метко. Пули рикошетом рвали лед.

Хаджи-Мурат на своих плечах таскал пулеметы, устнавлявая их на удобных местах против засевших в Усть-Мехреньге белогвардейцев. Но сил нехватало выбить тех из домов. Отряд держался, не наступал, пока не подоспел еще батальон красной пехоты.

Хаджи-Мурат самовольно взял под свое командование подоспевшую пехоту и пошел с ней в обход на Усть-Мехреньгу.

Белые отступили, оставив убитых и пленных.

Затрещала по всем швам северная белогвардейщина.

Красная армия заняла Сию, Сельцо, Холмогоры.

Сдался со своим отрядом и пинежский белый генерал Петренко.

Стоя на коленях, он умолял партизан и красноармейцев не доставлять его к Хаджи-Мурату.

— Зарубит он меня!.

Напрасно боялся генерал. Хаджи-Мурат встретил его приветливо.

Генерал начал лебезить перед ним.

— Ах, это вы, Хаджи-Мурат. Я знаю вас как смелого, доблестного командира. Я не раз отмечал в газетах, ставя вас в пример своим солдатам, которыми просто по недоразумению мне приходилось командовать. Я был обманут интервентами. Я шел против своей воли..

Тогда пропала приветливость Хаджи-Мурата. Он стукнул по столу кулаком и громко возразил:

— Не будь лисицей! Старая песочница ты, а не храбрый генерал!.. Я таких не уважаю. Ты враг, заклятый враг. Ради спасения своей шкуры притворяешься невинным. Хаджи-Мурат не такой, чтобы пленным головы рубить.. И Хаджи-Мурат не такой, чтобы поверить в сладкие речи врага!

\*

Шеговары, Муланда, Пучега, Сельцо Вшивый Березничек помнят боевые схватки хаджимуратовцев с беляками.

В жаркие дни в лесах и топких болотах мошкара, комары и оводы не давали покоя ни лошадям, ни людям. Но красные бойцы, преодолевая все препятствия, закаляясь в боях, неудержимо двигались вперед на врага.

Соратники Хаджи-Мурата, герои Северного фронта, красные бойцы не забыли и не забудут, как отряду иногда приходилось через непроходимые болота протаскивать на себе лошадей своего эскадрона.

Архангельские белогвардейцы трижды сообщали в газетах о том, что Хаджи-Мурат изрублен на куски. Словно назло белой прессе, „куски“ соединялись в целое, и „изрубленный“ Хаджи-Мурат появлялся там, где его не ожидали, и громил белых.

Красные партизаны рассказывают, как их эскадрон не раз попадал в кольцо противника. Но Хаджи-Мурат и в таких случаях не терялся. Впереди отряда, с шашкой наголо, с гиканьем насккивает он на врага, рубит направо и налево. За ним мчится во весь опор эскадрон, нанося удар за ударом.

Кольцо прорвано, и Хаджи-Мурат, идущий в голове отряда, вдруг поворачивает лошадь, налетает с другой стороны и обращает в бегство беляков недавно державших их в кольце,

Хаджи-Мурат был неутомимым инициатором в бою и особенно в подготовке к бою.

Он следит сам за ходом и действиями своей разведки.

Он выбирает удобный участок для наступления.

Он искусно подводит свой отряд с тыла.

При внезапном нападении он умело применяет тактику наведения паники на многочисленные силы противника. И т. д., и т. п.

Чутко и справедливо разбираясь во взаимоотношениях с подчиненными бойцами, строгий и внимательный, скромный в личной жизни, Хаджи-Мурат пользовался в отряде громадным авторитетом.

Слава о его победах над белыми гремела по всему Северному фронту.

Товарищ Э., красный партизан, близко знавший Хаджи-Мурата, говорит о нем:

„... Я никогда не забуду Хаджи-Мурата. Он справедливый, настойчивый человек. Он никогда в захваченных деревнях не обидел крестьян-бедняков и никогда не щадил кулаков — активных помощников белогвардейщины. Бывало, зайдем деревню, Хаджи-Мурат выберет себе самую плохую избу и ночует в ней. Посмотришь, хозяйка для него тащит постель, а он возьмет полено под голову и ложится: в таком положении, даже во сне, Хаджи-Мурат мог слышать, что вокруг него творится. Оружия с себя он никогда не снимал... В летнюю пору, когда отряд отдыхал где-либо

в резерве, а у крестьян-бедняков не на чем было пахать, Хаджи-Мурат говорил им: „У меня в эскадроне лошади стоят без дела, берите их и пашите“.

„Были у нас в отряде и такие субъекты: в тылу безобразят, а в бой итти — прячутся. Таким Хаджи-Мурат сначала говорил по-хорошему: „Стыдно, товарищи, так делать нельзя. Думаете, мне жизнь не дорога? Я тоже боюсь смерти, но я воюю. Совесть мне не позволяет прятаться в кусты или безобразить в тылу“.

„Однажды он был вынужден прогнать из своего отряда 12 горе-вояк. От этого отряд, конечно, не пострадал“.

Другой красный партизан — тов. Ш. рассказывает, как им пришлось увезти из белогвардейского тыла 20 возов сена. Хаджи-Мурат тогда послал полковнику Чубашку записку: „Узнай, чье сено увезли мои ребята; если оно принадлежало бедноте, я с ними рассчитаюсь, уплачу за сено вдвойне, после того как разгромяю твой полк“.

Хаджи-Мурат сдержал свое слово. Чубашка с полком он захватил в плен. За сено крестьянам уплатил...

Ликвидировался Северный фронт.

В феврале 1920 года Красная армия вступила в Архангельск.

В те дни отряд Хаджи-Мурата находился в Заостровьи (в 4—5 километрах на запад от города). Здесь он перехватывал последних белогвардейцев, искавших выхода из Архангельска на Сороку и к финской границе.

Участие Хаджи-Мурата в гражданской войне не ограничивается подвигами только на Северном фронте.

В том же 1920 году он руководит конными отрядами Красной армии на польском фронте.

В первых числах марта 1921 года Хаджи-Мурат, с пошатнувшимся здоровьем (вследствие многочисленных ранений) откомандировался в распоряжение штаба Кавказского фронта.

Так он разлучился с боевыми товарищами.

В адресе, поднесенном Хаджи-Мурату от красноармейцев, выражено их чувство доверия и преданности отважному командиру-товарищу:

„Мы, красноармейцы 4-го эскадрона Кавдивизии I Конной армии, 4 марта 1921 года, расставаясь с нашим дорогим командиром тов. Хаджи-Муратом, заявляем:

Дорогой тов. Хаджи-Мурат, мы, красноармейцы, проводившие с тобою вместе четырехлетнюю боевую жизнь в гражданской войне, знаем тебя как самоотверженного, стойкого бойца за дело освобождения трудящихся.

Дорогой товарищ, стоя во главе нашего эскадрона, ты сумел нас сплотить, организовать и сделать нас стойкими, самоотверженными бойцами.

Мы помним и будем помнить нашу боевую жизнь, нашу славу, связанную с твоим именем.

Расставаясь с тобой, дорогой товарищ, мы клянемся, что почетное имя Хаджи-Мурата мы не запачкаем ни в какие минуты.

Прощай дорогой товарищ, будь жив и смел. Мы надеемся, что и ты нас, твоих бойцов, не забудешь“.

Кончилась гражданская война.

Демобилизовались бойцы из эскадрона Хаджи-Мурата. Ушли на поля, в леса, на промыслы северодвинские товарищи. Ушли к станкам на фабрики петроградские боевые ребята — рабочие. Ушли на фронт труда.

Но еще кое-где на юге России мелкими болячками вскрывались махновские банды. Они наносили ущерб советской власти.

Не спешил к себе в Осетию Хаджи-Мурат.

По 1 марта 1923 года, находясь в распоряжении штаба, он добывал остатки махновщины и других банд.

И только потом Хаджи-Мурат возвращается в родное осетинское село Зильга.

Деникинцы сожгли, с землей сравняли его домашний очаг. Своими руками построил он себе небольшую новую хату. Купил корову, лошадь, стал хлеборобом.

Соседи говорили ему:

— Брось работать, проси помощи у власти, ты заслужил.

— Ладно, стар я стал, но еще поработаю. А советская власть, вроде моего хозяйства, помещиками да генералами разорена. Поправится — меня не забудет.

По соседству с Хаджи-Муратом в том же селе жил не то бывший генерал, не то крупный чиновник царского времени.

По старой памяти крестьяне его побаивались и приглашали как гостя на свадьбы и празднества. Таков был обычай.

Хаджи-Мурат возмутился. На собрании осетинов он заявил:

— Это недобитый классовый враг, а вы его почитаете, как икону! Довольно себя срамить перед паразитом. Времена изменились, избавьте эту царскую дрянь от незаслуженного почета!..

Репутация „бывшего генерала“ подмокла, соседи отшатнулись от него, и не удалось ему стать вожаком на селе.

Хаджи-Мурат повел работу по организации колхоза у себя в селе. Кулаки почуяли в этом опасность и стали его преследовать.

Цель в таких случаях ясна: уничтожить активиста-большевика значит припугнуть остальных, не дать родиться колхозу.

В период коллективизации кулачество всячески ущемляло Хаджи-Мурата.

Украли у него единственную корову.

Сожгли его избу.

Поздно ночью напали на него трое вооруженных бандитов, хотели прикончить, да не удалось. Выручили Хаджи-Мурата неразлучный в дорогах турецкий карабин и боевая смекалка. Отстреливаясь от бандитов-кулаков, он двоих убил, а третий был пойман и осужден...

— Будет война, я на пятнадцать лет помолодею. Я не разучился владеть оружием. Мое место будет на самых серьезных и ответственных участках обороны нашей страны, — так заявлял Хаджи-Мурат на собраниях бывших красных партизан и архангельских рабочих, когда через двенадцать лет после ликвидации Северного фронта приезжал в гости на Север.

# Боевые приключения Пастухова

## 1. В разведке

Обо всем помнит Сергей Пастухов. Помнит, как командир 155-го полка вызвал его с товарищем к себе; помнит, как и о чем инструктировал командир полка, посылая их на разведку, в тыл белых. Ну, и, конечно, хорошо помнит Сергей Пастухов разведку и никогда ее не забудет. А вот, черт знает, досадно, совсем досадно, — забыл Пастухов фамилию того товарища, что ходил с ним в белогвардейский тыл. Товарища по фамилии он никогда не называл. Величал его просто и ласкательно — Ваней.

Ваня был любимец в роте. За веселый характер, за боевой дух, за смелость и отвагу уважал Ваню и Сергей. Были они внешностью похожи один на другого: ростом оба ниже среднего, юркие, черноволосые, нельзя сказать, что красивые, но симпатичные — быстроглазые деревенские парни. Оба они — добровольцы Красной армии. Сергей поступил добровольцем в Вологде, Ваня — у себя в Церковнической волости. Вот почему командир полка доверил и поручил разведывательную службу Ване и его близкому другу смельчаку — Сергею Пастухову. Знал командир, что эти бойцы — люди верные советской власти, не струсят, не предадут и не продадут в случае, если даже застрянут в лапах белогвардейцев.

Стоял январь девятнадцатого года. Морозы, известно, градусов тридцать, а то и больше. В такую погоду белогвардейские постовые одевались в пудовые английские тулупы, мороз их не пробирал, но в такой одежде с высокими меховыми воротниками они были не очень наблюдательны и весьма неповоротливы.

Пастухов с Ваней в дубленых полушубках, в валенках, с винтовками за плечами, тихонько обошли белогвардейские патрули и беспрепятственно к вечеру пришли в Понизовье.

— Ну, вот и дома,— сказал Ваня, обращаясь к Пастухову,— пойдём ко мне в гости. Отец мой воюет, а сестра должна дома быть...

С задворья, через наземные ворота, они пробрались на поветь. Здесь притаились в соломе. Прислушались, нет ли кого в избе лишних. В сенях брякнули подойником. В ожидании молочной подачи мяукала кошка. Вспыхнул бледный свет лампочки-керосинки.

— Ты сиди здесь,— шепнул Ваня,— а я объявлю себя. Кажись, никого, кроме сестренки, нет.

Зашуршала солома, и Ваня, скрипя половицами, бросился с повети в сени.

— Здорово, Анютка!

Та громко стукнула подойником о пол, ахнула.

— Да ты не бойся, не съем!

— Ванюшка, вот ты леший принес! Убирайся или прячься, куда хошь! Ведь у нас на подворье четыре офицера стоят, погибель тебе!

— А нам это и надо,— глухо отозвался Ваня,— в избе они, что ли?

— Нет, но скоро придут.

— Ну, хорошо, дай-ка две кринки молока парного да помалкивай. Отец-то где?

— У них, у белых в караульной роте. Домой приходит только по воскресеньям.

— Ну, как, скоро они придут?

— Почем знать, может сейчас.

Аннушка подняла лампочку, осветила лицо своего брата. Из-под папахи сверкнули такие же быстрые глаза, что были и раньше, только, кажись, брови, погуще да поплотней, сердито встретились над самой переносицей.

— Борода-то из тебя садит, что те озимь в теплую погоду!

Еще хотела она спросить его — „зачем пожаловал“, да не решилась — указала на молоко, стоявшее — десять кринков в ряд — на полке.

— Пей, пока не замерзло.

— Ступай, Анютка,— сказал Ваня неласково и с двумя кринками молока в руках исчез на повети.

Там разговорился с Пастуховым.

— Дела, Сережа, наклеиваются, что надо. В нашей избе четыре офицера зимуют. Скоро вернутся из штаба на ночлег. Плохо, что отсюда ни черта не будет слышно их разговоров. Перейдем-ка в подполье, в голбце засядем. Только имей в виду, Сережа, там дышать не придется.

Он<sup>и</sup> спустились с повети в хлев, отсюда проникли в подполье...

Офицеры вчетвером шумно ввалились в избу, у порога сбивая приставший к сапогам снег, постучали железными подковками.

— Сережа, замри!

— Я уже.

В полу — щели; сквозь них проглядывали бледные полосы света. Над головами разведчиков слышались тяжелые шаги. Отчетливо доносилось каждое слово. Выдержка, внимание и смелость не покидали Пастухова и Ваню ни на миг.

Первый голос:

— Ну, как, друзья, выпьем перед сном?

— Давайте, допьем вчерашнее, — согласился второй голос.

— Аннушка! — крикнул третий, — гони на стол жаркое и английскую.

Пили до полуночи. Шумели. Разговаривали о делах штаба, о том, что на зимних квартирах придется задержаться до весны, крепить блиндажи и пулеметные гнезда, а по весне отрезать красных под Тарасовкой и наступать по всему железнодорожному направлению. Потом трое плясали под балалайку четвертого. Слышался визг Аннушки и ее легкие, быстрые шаги. Затем пели песни, длинные, вразброд. А когда начался храп и сбавился свет от лампы, Ваня сказал:

— Сережа, пора нам вылезать отсюда в избу. Как, по-твоему, удобней поступить?

Пастухов давно уже обдумал ответ:

— Спят все четверо. Значит, троих возьмем на штык, а четвертого уведем с собой.

Договорились.

Прошла минута, не более: три белых офицера были заколоты. Из их карманов бумаги, документы и записные книжки доставал Сергей, — это нужно для своего командования... Ваня узеньким ремешком связывал четвертому офицеру руки, приговаривая:

— Да не ерепенься!

— Не пойду, расстреляйте, не пойду, — бормотал офицер, не понимая, как это все неожиданно обернулось.

— Пойдешь!

Пастухов сунул в карманы своих штанов два офицерских нагана и повесил на себя полевую сумку, наполненную бумагами. Еще два револьвера он подал товарищу.

— Неси, пригодятся.

В ту ночь красные разведчики возвращались обходом в штаб своего 155-го полка. Нехотя плелся между ними офицер. Шла к красным и Аннушка с ношей домашнего скарба: в стане белых ей не было бы житья.

Через несколько дней Ваня ходил на разведку в Понизовье. Там он захватил в плен и доставил в штаб полка... своего отца.

## 2. В боях

Что заставило Сергея Пастухова идти добровольцем в Красную армию и ехать на северный фронт? Ответом на этот вопрос была суровость его молодой жизни. Сын бедняка, батрак-отходник, он с раннего детства „хлебнул горячего до слез“ работал на кулаков, на трактирщиков, работал по шестнадцать часов в сутки; спал хуже, чем хозяйский пес,— где-нибудь под лестницей. Так жил он и ждал, когда возьмут его в солдаты и заставят воевать с немцами: авось на царской службе улыбнется счастье. Но расчеты на „авось“ провалились. На царской службе солдат был пушечным мясом. Воевать Сергею пришлось на Рижском фронте. То наступление, то отступление. Что ни день,— солдату новоселье. И не раз писал в ту пору домой Сергей, поминать просил: не думал в живых остаться. Но, как ни сыпали снарядами, как ни свистели германские пули, смерть прошла мимо Пастухова.

Кончилась империалистская бойня. Большевики боролись за мир, за землю, за власть трудящихся.

Настала гражданская война. Англичане захватили Архангельск. Тут жировать дома некогда. И Пастухов в добровольческом отряде едет на фронт. Из Вологды — на Плесецкую, отсюда по шоссе отряд пошел на позицию в направлении Холмогор. Отряд сформировался в батальон, командовал им красный командир Постромин — человек, получивший закалку в империалистской войне. Пастухов был назначен командиром взвода. С первых же дней их батальон отличался спаянностью и железной дисциплиной.

В пути поступили сведения: на двадцать втором километре по шоссе, триста матросов, стоявших на стороне красных, подстрекаемые белогвардейскими провокаторами, подняли бунт, отказываются держать позицию. Батальон Постромина застал бунтарей врасплох. Обезоруженных матросов отправили в тыл, батальон бойцов занял их место.

Осенью восемнадцатого года и в начале зимы красные крепили позицию. Сил и вооружения было мало. Насту-

пять на отлично вооруженных интервентов было не с чем. Задача — удержать позиции от белогвардейских натисков. С этой задачей бойцы справились блестяще. Не раз белогарды пускали против красного батальона английскую технику — минометы, аэропланы и тяжелый танк с шестью пулеметами, но безуспешно. Красные дрались так, как подобает драться коммунарам. Трусов не было.

В стычках, случалось, попадали в плен английские и французские солдаты. Им не было расчета гибнуть на чужбине.

— Русь, ваш! Ваш, Русь!

— Добре, большевик, добре! — кричали они, сдаваясь. Никогда не забудутся бои под Тарасовкой.

Морозы были такие, что люди замерзали насмерть. О голоде и говорить нечего. Ели мясо убитых лошадей. Но бойцы шли с твердым желанием победить. Умереть не хитро, надо было победить, — и красные побеждали. Отвоёвывали деревни Монастырскую, Гришино, Александрово, сбивали из полевых пушек купола церквей, там, где на колокольнях, с благословения духовенства, устанавливались огневые точки интервентов. Пядь за пядью отнимали у интервентов землю красноармейцы, красные партизаны.

У Средь-Мехреньги белые задержались на укрепленных позициях. Завязался жаркий бой. Перевес был на стороне белых и интервентов, однако бой кончился вничью. Братские могилы там и тут напоминают о прошедших боях. Мерзлые комья земли скрыли под собою павшего в бою славного товарища Ваню — добровольца из Понизовья. За несколько дней до смерти Ваня получил орден Красного Знамени. На его могиле Сергей сказал несколько горячих слов как клятву:

— Прощай, милый друг Ваня! Прощай, храбрый разведчик! Прощай, славный герой-краснознаменец! Мы живы, мы еще постоим за советскую власть, за Россию советскую, мы еще отомстим за тебя всей контрреволюции!

И клятву, данную на могиле друга, Сергей Пастухов сдержал не раз. Особое геройство он проявил со своим отрядом в марте девятнадцатого года. Белогвардейские полки, 3-й и 4-й, крепко засели в Моржегорской волости. Знали белые, что против них стоит незначительная сила красных; наступления поэтому они не ждали, и уж никак не приходило им в голову, что красные рискнут к ним пробраться в тыл. Это было бы безумием. Попасть в тыл — означало обойти Мехреньгу со стороны Плесецкой, преодолеть глубокие снега, бездорожицу, лесные, почти неис-

следованные чащи, пройти напрямик не менее ста километров — немыслимое дело ни пешему, ни конному. Комбат Постромин и командир роты Тряпицын выделили шесть человек в разведывательный отряд. Старшим разведки назначили Пастухова. Перед разведкой отряд переоделся. Белых халатов не было. Умудрились поверх ватных шаровар и фуфаек надеть чистое белье. Маскируясь, тронулись где пешком, где на лыжах, в далекий и опасный путь. Разведку совершили удачно. Дня через четыре разведчики вернулись и повели за собой в белогвардейский тыл два батальона бойцов. Сергей тогда командовал взводом в роте Тряпицына. Шли там, где казалось невозможно пройти — по рыхлому снегу, по лесам, по болотам, и тащили с собой орудия в разобранном виде. Ночью на отдыхе, спасаясь от мороза, бойцы зарывались в снег. Дошли до моржегорских деревень, заняли их. И начали бой с неравной силой противника. Командира роты Тряпицына белогвардейская пуля вывела из строя. Пастухов занял его место в бою.

Совершив налет на белогвардейские резервы, не дожидаясь, когда подспеют подкрепления интервентов, красные отошли обратно, уводя за собой пленных.

Поход этот в памяти красных бойцов запечатлелся на долгие годы. Он был назван „мартовским походом на Моржегоры“.

За боевую операцию, за неоднократные успешные разведки 17 марта 1919 года Сергею Пастухову был вручен орден Красного Знамени.

### 3. В плену

Осенью в девятнадцатом году после горячих боев наступило затишье. Но все знали, что это затишье перед бурей. Потеря ориентации — самое худшее в военном деле. Комбат Постромин, грязовчанин родом, храбрый и решительный вояка, не раз посылал бойцов в разведку. Результаты были не утешительны. Или возвращались люди ни с чем, или же совсем не возвращались. Батальон был на чеку, в полной боевой готовности. Страх не было, но отсутствие точных сведений о расположении сил противника тревожило комбата и вызывало скрытое беспокойство со стороны полуголодных, плохо одетых и слабо вооруженных бойцов.

Тогда Сергей Пастухов, большой охотник до разведок, подошел к комбату и, так как был с ним из одного Грязовецкого уезда, душевно, по-соседски, заговорил;

— Что, Саша, делать-то? Положение наше темное, надо прощупать, что и как. Чем чорт не шутит, когда наша разведка спит; пожалуй, долго будем в таком неведении находиться, беляки обойти могут. Худо будет.

— А ты не сей панику!— отрезал Постромин.

— Да я-то не трушу. К тому говорю, чтобы ты меня сегодня ночью в разведку направил.

— Хорошо, ступай вдвоем с Илюшей Денисовым, он как-будто знаком с местностью. Советую тебе только орден оставить: вдруг да запорешься.

Пастухов посмотрел на орден Красного Знамени, сиявший на клапане грудного кармана гимнастерки, погладил его бережно по эмали.

— Нет, Саша, пойду с орденом.

Комбат на своем не настаивал. Сергей не раз доказал на деле свое умение в разведывательной службе. Не раз выходил цел и невредим из сложнейшей, запутанной обстановки, да еще приходил не с пустыми руками, а с интересными сведениями о расположении белых, иногда приводил с собою белогвардейского „языка“, то-есть пленного.

В темную осеннюю ночь 26 октября 1919 года Сергей Пастухов и Илюша Денисов, один от другого на значительном расстоянии, шли в разведку. С одной стороны лес и болото, с другой — насыпь Северной железной дороги. Разведчики шли не спеша, обходили грязь и лужи, чтобы не хлюпать по ним — избегать предательского шума. Опередив километра на два свой батальон, решили разойтись в разные стороны, а перед рассветом встретиться на этом месте, у столба с цифрой 389. Пожали на прощанье руки, расстались.

Сергей пробирался в темноте около железнодорожной насыпи, держа винтовку наперевес. Храбрость — храбростью, но сердце стучало тревожно и часто. Смерть, чорт ее знает, — может, она из-за кустов, из-за насыпи следит за каждым его шагом... Изредка он останавливался, прислушивался, но было тихо. Слегка моросил дождик, каплями перебирая последнюю листву на осиннике.

Вышел Сергей на поляну, а тут белогвардейский отряд, более ста человек. Со стороны их раздался повелительный голос:

— Сколько там вас? Ложись!..

Сергей на минуту растерялся. Невпопад, откликнулся:

— Да что вы, ведь я никого не убил!..

— Ложись!

Делать нечего. Лег. Придерживая левой рукой винтовку, правой ухватился за орден, рванул его с такой силой, что оторвал вместе с клапаном кармана, и тут же, около насыпи, в один миг зарыл в песок.

Пастухова увели в белогвардейский полк на допрос.

Его допрашивал поручик-щеголь с прилизанными волосами, с длинным крючковатым носом и узким подбородком. На поручике — английский френч, блестящие пуговицы и погоны. Из-под письменного стола пахло гуталином от офицерских сапог.

Сергей стоял и думал о том, что скоро поведут его на расстрел, думал об отце своем, оставшемся в деревне, — узнает ли он об участии сына?

Два молчаливых конвоира стояли по сторонам. Поручик вышел из-за стола, остановился в двух шагах от пленника.

— Вы кто такой будете?..

Василий помолчал, подумал и решил сказать:

— Я Пастухов, Сергей, уроженец Шуйской волости, Грязовецкого уезда, Вологодской губернии.

— Так-с. Хорошо. Прекрасно. Ваш чин?

— Как видите, рядовой.

— Гм, рядовой?

Больше Сергей вопросов не слышал. У поручика рука была приучена бить резко и без промаха. Ударом в висок Пастухов был сбит и... очнулся уже в другом помещении, где его обливали холодной водой. Боль чувствовалась в руках, ногах, в ребрах, и шумело в голове. „Значит, били и тогда, когда я был без сознания“, — подумал Сергей.

Опять был допрос. Поручик предложил папиросу. Пастухов отказался.

— Так-с, вы, надеюсь, не в обиде, что я погорячился? — спросил поручик.

— Вообразите себя на моем месте и задайте себе этот вопрос.

— Прекрасно отвечаете! — воскликнул поручик, — и после этого хотите, чтобы я поверил, что вы рядовой!

— Ничего я не хочу, дело ваше, за кого угодно считайте, но только я рядовой, и ничего я не знаю, поскольку я рядовой.

— Ну, мы еще с вами поговорим, имейте в виду и взвесьте свое положение. Грамотный?

— Немножко учен.

— Распишитесь.

Пастухов с нарочитой безграмотностью медленно расписался в протоколе, а имя написал даже с ошибкой — „Сиргей“.

Поручик небрежно откинул протокол на край стола, кивнул конвоиру: „Отведи“. Пленного посадили в баню. Там было несколько „неблагонадежных“ из местного населения, и тут же, к удивлению Пастухова, оказался его товарищ Илюша Денисов.

Из разумных соображений они не сразу признали друг друга. Сергей заговорил с ним первым, отнюдь не давая понять посторонним, что они уже знакомы.

— Давно? — спросил он Денисова.

— Не успели еще допросить.

— То-то, я вижу, что не битый. — И тихо, себе под нос, добавил: — Смотри, держись крепче... не выдавай ничего.

... Денисов вернулся с допроса. Его не били. И потому, что не били, Пастухов начал терзаться сомнениями: „ужели он стал предателем, ужели рассказал белогадам о красных частях, ужели он трус и сволочь?“

Глядя на задумчивого, изменившегося в лице Сергея, Денисов понял, о чем тот думает, и, удалившись в угол бани, сидел одиноко и молчаливо, ожидая, когда он к нему подойдет. На любопытные расспросы соседей Денисов давал уклончивые ответы. Пастухов молча прислушивался. Наконец, он не вытерпел, прилег на пол рядом с товарищем, спросил тихонько:

— Не били?

— Не били.

— А за сколько купили?

— Дурак! — отозвался Денисов и косо поглядел на него. — Я хуже тебя, что ли?

Пастухов не обиделся.

— Ладно, не станем ругаться. Расскажи, что было на допросе.

Поглядев по сторонам и убедившись, что никто к ним не проявляет любопытства, Денисов рассказал о том, как он на допросе встретился с белым офицером по фамилии Барейша, у которого ему приходилось служить еще в империалистскую войну, в Петрограде.

— Узнал он тебя?

— Еще бы! Я ему козырнул по всем правилам, назвал высокоблагородием. Он улыбнулся и с допросами не приставал, о прошлом, особенно о службе в лейб-гвардии Финляндском полку трепался. Потом говорит: „Желаешь ко мне в переписчики?“ Я согласился, — всяко, думаю, служить можно, а удача будет — стрекача задам. Барейша обещал устроить. И тебя мне хочется выволить. Чем худо-то думать, давай-ка, поразмыслим вместе, как быть?

Думали долго. Порешили на одном: использовать любые средства для побега к красным, любые, кроме предательства.

Через два дня Денисов был принят в канцелярию и переписывал безобидные бумажки. Он вежливо раскланивался с сослуживцами и строго соблюдал субординацию перед Барейшей, пристукивая каблуком о каблук, вставал навытяжку и бойко „орудовал“ двумя-тремя заученными фразами: „Слушаю-с, вашевысокоблагородие!“ „Так точно-с!“ „Никак нет-с!“ Этого было достаточно для разговора с начальством.

Вскоре за какой-то проступок Барейша послал на трое суток на гауптвахту вестового Клячкина. Тогда Денисов и порекомендовал ему Пастухова на эту должность.

Пастухову доверялось немного: он варил клей и сургуч, клеил конверты, разносил почту. Потом ему дали верховую лошадь и даже разрешили носить ржавую шашку. Ему же поручили возить пакеты в белогвардейский штаб полка. По мере оказываемого доверия все больше и больше назревала возможность побега. Пастухов с этой мыслью не расставался. Денисову он верил и не скрывал от него своих намерений. Но тот предостерегал:

— Верь мне, я скажу тебе, когда будет нужно, не щадя жизни, пробраться к красным...

И этот момент настал скоро. В конце дождливого ноября белогвардейцы усиленно готовились к наступлению. Накануне отчаянных действий белогвардейщины Денисов перед отъездом Пастухова с очередной почтой в штаб полка говорил ему:

— Вот сегодня ты должен бежать. Будь, что будет. Здешние пакеты ты сдай в штаб полка, но зато полковую корреспонденцию из штаба сумей доставить красным. Ожидается сегодня получить план наступления и пропуска через линию фронта для белых разведчиков. Не стесняйся, вскрывай штабные пакеты. Понадобится — пользуйся пропуском белогвардейского разведчика, но лучше бы без пропуска. Фронт обходи с правого фланга. Шашка при тебе, живой не сдавайся...

— А ты как?

— Я о себе позабочусь. Счастливо! До скорой встречи у своих. Да не трусь, смелостью города берут. Линия фронта на правом фланге обрывается очень близко. Перехитри дозоры, и ты будешь у цели...

Разговор происходил наедине, у колодца. Пастухов поил и налаживал коня в дорогу.

С большим трудом сохраняя хладнокровие, Сергей мелкой рысдой трусил за четыре километра к штабу белогвардейского полка. Попутно он обдумывал побег и сберегал силы своего коня. В тот день в штабе он расписался при получении почты последний раз. Ему удалось не навлечь на себя подозрений. Проскакав в тылу вдоль линии фронта, примерно, часа полтора, Пастухов оставил взмыленную лошадь на привязи у опушки леса. С саблей на боку и с сумкой полкового штаба у пояса он быстро уходил в гущу прифронтного леса навстречу неожиданностям, навстречу мрачной осенней ночи.

Пришел он к своим на рассвете. Комбат Постромин вместе с командиром полка рассмотрели планы, добытые из белогвардейского штаба, и остались довольны продолжительной разведкой красноармейца Пастухова.

— А все-таки зря я тебя, Саша, не послушал насчет ордена-то. Лучше бы его оставить. В памяти сохранился номер ордена — 836. Даже номер приказа по штабу шестой армии помню — 869...

Реввоенсовет Республики и ВЦИК нашли возможным и нужным выдать ему взамен утерянного новый орден Красного Знамени, с другим — пятизначным номером.

## Три случая из жизни Ивана Носкова

Течение Вычегды усилилось. Вода шла быстро на спад, а сплав леса тормозился. На долю Ивана Носкова достался паром леса, который надо было сплавить за четыреста километров в Рябовскую запань.

...Плот несло по бурной Вычегде со скоростью пятнадцати километров в час. За поворотом реки Иван Носков увидел густой дым. И, когда Иван Носков обогнул мыс, его глазам представилось удручающее зрелище. В расстоянии двух километров, в деревне, горел его собственный дом. Пламя охватило крышу. Огненные языки вились в разинутые пасти разбитых окон. Видит Носков около горящей избы суетливых соседей: люди с ведрами пытаются тушить, по бревну растаскивая горящее здание.

На несколько секунд Иван забыл все на свете. Даже о детях — двух малышах, о жене он вспомнил почему-то не сразу. Вот сейчас паром поровняется с деревней. „Не подогнать ли его ближе к берегу, а самому выпрыгнуть и скорей бежать на пожар?“ — мелькнуло в сознании сплавщика.

Поровнявшись с деревней, он снял шапку, неистово стал махать ею и кричать во весь голос:

— Лодку!.. Лодку!..

С берега заметили. Один из колхозников, пересекая реку в утлой лодочке, мчался к парому. Зацепившись за хвостовую плитку, колхозник сообщил на ходу:

— Имуущество погибло в огне. Жена и дети живы-здоровы. Корова, поросенок в целости... Садись в лодку, поедем на берег.

Узнав, что семья вне опасности, Иван просиял сдержанной улыбкой и осторожно шестом оттолкнул лодку с соседом, сказав ему вслед:

— Фекле и ребятишкам поклонись от меня, а паром я не брошу; может разбить, а лес-то наш, советский. Скажи им: через недельку вернусь.

И, широко переступая по бревнам, он перешел с середины плота на головную плитку, крепко ухватился за гребок.

Деревня, прикрываясь дымовой завесой пожара, осталась позади...

— Не прежнее время. В колхозе нищих нет и не будет, и под открытым небом жить с семьей не придется, — рассуждал сам с собой Иван Носков, ловко направляя паром на середину Вычегды...

Это произошло тоже на сплаве на Мезени. Дело было ранней весной. С катищ спускали лес и вслед за ледоходом модем сплавляли его в устье реки Мезени. От дождей и от растаявшего снега вода высоко поднялась, вырвала в запани якоря и медведки. С треском и невероятным шумом, разрывая снасти, лес двинулся на простор большой реки. Люди, работавшие на катищах, безнадежно и беспомощно толклись, удержать лес были не в силах. Лес несло к морю. Хотя до моря еще далеко, но все равно перехватить лес никто не сможет. Запани не установлены. Сообщить туда об аварии можно было бы по телефону, но его в этих местах не было.

Иван Носков работал здесь бригадиром. Перекинул через плечо сумку с краюхой хлеба, захватил багор и, передав бумажник с деньгами и документами десятнику, сказал:

— Если утону в болотах или озерах, не поминайте лихом, а это вот пошлите моей семье. Тут триста рублей и паспорт.

Встретились молчаливые суровые взгляды десятника с бригадиром.

— Я тебя не отпущу, — проговорил десятник, смекнув, в чем дело. — Ты хочешь итти на верную гибель...

— Ничего. Попытка не пытка.

Носков, глядя на прорвавшуюся запань, высчитал:

— Река огибает до следующей лесостоянки километров около девяноста. Прямоком мне бежать — сорок. За восемь часов успею...

Он бежал по берегу реки, сворачивая на изворотах — и прямо, прыгая по кочкам, опираясь на багор, проносился с легкостью оленя. Его ничто не останавливало в пути. Маленькие речки он пересекал вброд, не чувствуя холода, ибо согревался на ходу. В одном месте быструю и студеную Мезень он переплыл верхом на двух связанных ремнем бревнах.

Добежал Иван Носков до места, где надлежало быть запани, но запань еще не была поставлена. Никто здесь не помышлял о возможности аварии в верховьях реки.

— Спасайте, лес идет!.. — передал он в бараке столпившимся вокруг него людям и, усталый, свалился на пол. На некоторое время он потерял сознание. С затоптанного пола его подняли и положили на лавку. От промокшей одежды шел пар.

Кто-то распорядился:

— Немедленно затопить баню, достать вина и согреть этого человека.

Носков отлежался, через два-три часа он встал с лавки и потребовал себе багор.

— Чего вы тут со мной дурака валяете? Пойдемте запань ставить, сейчас лес нагрянет.

— Лежи, поправляйся, ты сделал большое дело, — сказал начальник запани, — мы успели развернуть три бона в ряд. Отдыхай и не беспокойся. Запань готова. Аварийная древесина начинает поступать. Ни одного бревна не упустим в море. Будем ходатайствовать перед Комилесом, чтобы тебя по заслугам премировали...

Нас было трое: Иван Носков, еще один сплавщик из Усть-Кулома, изглоданный оспой и загорелый, и я. Мы сидели на пароме вокруг костра, горевшего на дерновом очаге. Иван Носков рассказывал:

— Жировал и орудовал здесь белогвардейский капитан Орлов. Отряд у него был небольшой, человек триста-четыреста, а нагадил он шибко. Жен краснопартизанских в заложницы брал, издевался, насильничал. Коммунистов и советских активистов, которых выдавали ему провокаторы-кулаки, Орлов беспощадно расстреливал или же бросал живых в проруби.

Однажды на Удоре наш отряд пробирался по льду, наступая на белобандитов. Смотрим: из-под льда торчат замороженные голые человеческие ноги... Разрубили лед и достали загубленных товарищей. Похоронили на берегу реки, а сами на лыжах преследовали бандитов. Километров на двести мы отпихнули тогда белых на север.

Иногда удавалось захватывать в живых наших заложников. Истомленные, изнуренные, они рассказывали нам, как белобандиты мучили их на принудительной работе. Спрашиваем у них: „А что заставляли они вас делать?“ Наши товарищи, побывавшие в белогвардейских когтях,

отвечали: „Скучное и тяжелое нам дело давали: заставят на реке вырубить рядом две проруби, дадут ведра и приказывают из одной проруби в другую переливать воду... Каково?“

Иван Носков достал уголек из костра, прикурил, обвел нас чуть прищуренными глазами и, убедившись, что мы его слушаем внимательно, продолжал:

— Охотились мы за ними до весны, а когда начался разлив рек, вроде бы замирение вышло. Перестали гоняться.

Ладно, хорошо, началось лето. И дни длинные, и природа ожила, каждый кустик ночевать пустит. Полушубки поскидали, в Айкино на склад отправили и продолжаем тем же манером щелкать белогодов, а иногда и нам доставалось, таить тут нечего. Только в конце концов наша взяла верх...

А до этого я еще такого страху натерпелся, вот видишь (Носков снял шапку и, наклонившись к костру, показал седину на висках). Эта инева с тех пор у меня осталась. Ходил я с товарищем в разведку, тоже был Носков, мой однофамилец и сосед. Пошли мы с Носковым в тыл к белым, одеты оба по-крестьянски. За пазухой наганы, на плечах уздечки, вроде бы коней пропавших ищем. Я говорю:

„Ты иди в эту деревню, а я пойду на Починок. Пораспросим кое-кого, поразнюхаем и встретимся около вон той старой мельницы“.

Пошли оба во-свояси. Только я подхожу к Починку, вижу — около изб лошади на привязи с седлами. Я на подсеку да к лесу. Итти бы Починком, может сошло бы по-добру-поздорову, и не расчухали бы, кто я такой. Так нет, дернул меня чорт на подсеку. Иду да уздечкой побрякиваю. Как обернусь, а ко мне трое скачут на лошадях. Дело привычное — воевать, а колени подогнулись, нечего зря сейчас и бахвалиться. Догнали и по-зырянски говорят:

„Кыче мунам? (Куда идешь)“.

„Не понимаю,— говорю я,— я роч, то-есть русский“.

Тогда они мне по-русски говорят:

„Вертайся в Починок, там разберемся...“

Ну, думаю, пропал! Хотелось нечаянно револьвер обронить, какое там,— глядят на меня верховые, как сычи. Ладно, хорошо, будь, что будет.

Обыскали, били для начала немного. Один зуб вышибли да головой о стену раз пять стукнули. Потом увели под конвоем в село, где штаб Орлова. Втюрили в амбар. Там сидело заложников и пленников человек двадцать. Темень страшнущая. И когда день, и когда ночь — мы не знали.

Амбар был купеческий, стоял в стороне села, ни днем ни ночью к нему никого близко не подпускали.

Пить и есть давали нам раз в сутки. Кто стонал от голода и просил прибавки хлеба, того подкармливали прикладами и пинками.

Выводили на допросы... Спрашивали:

„Много ли войска у красных?“

„Не считал,— говорю,— иначе не меньше вашего...“

Поспрашивают-поспрашивают, поколотят по щекам, в подбородок ткнут,— стою и терплю да жду, когда на смерть кокнут...

Носков приветал, посмотрел в даль белесой ночи и встревоженно, прерывая свой рассказ, проговорил:

— Ребята, кажись наш паром заносит не туда, куда нужно. Вот видите мыс, на нем два куста, тут должна быть мель. А ну-ка, за гребок возьмитесь, да на стрежу направьте, а то намучимся на мели...

Я и мой товарищ, выровняв паром на середину реки, вернулись к очагу и попросили Носкова рассказывать дальше.

—... И вот дождался. Расстреливать повели нас троих, а их шестеро — по-двое на брата. Помню до мелочей это времечко. Солдаты с винтовками без штыков. Обмундирование английское. Пуговицы со львами, карманы широкие... Солдаты не бритые, как и мы, глаза у них заспанные. Ведут нас, ведут — помалкивают.

„На расстрел?“ — спрашиваем. Молчат. Куда же больше, — ясно дело, на расстрел.

Повели вдоль села, так и хотелось закричать, что есть мочи. Село спит. Ни души. Время полночь, только знаешь, у нас какая светлынь летом, — что день, что ночь — сплошной день круглое лето. Завели в контрразведку; то ли сам Орлов сидит, то ли другой какой набольший, сказать затрудняюсь. Встает из-за стола стервец золотопогонный. Достает, не торопясь, из папки бумажку и смотрит на нас зверскими глазами. Тишина могильная. Объявил приговор. Я понял только два слова:

„Через расстреляние...“

На минуту помутилось в глазах. На обоях подсолнухи желтые как будто зашевелились, закланялись. И пол под ногами точно в подземелье уходить начал. Ничего нет страшнее страха перед смертью, это я испытал, и никаких желаний в голову не приходило, кроме одного — жить. Солдаты, по-двое стоявшие между нами, вцепились в наши руки. Один из приговоренных простонал: „Трое деток,

мал-мала меньше...“ и заглох. Другой выругался матерно и заскрежетал зубами, подергиваясь всем телом. Двое солдат его еле сдерживали.

Почти на руках стащили нас по лестнице. Я делал вид, что с трудом переставляю босые ноги. Руки держал беспомощно и отвисло...

Солдаты, видно, почувствовали мою слабость, освободили мне руки. Смеясь, солдаты болтали развязно, цинично: „Этот, пожалуй, до могилы со страху сдохнет“. Я молчал и продолжал делать вид, что еле-еле переступаю. И до разговоров ли тут!

Свернули в переулок и поперек запустевших полос пошлагали в сторону леса. „А что, если попробовать вырваться и броситься бежать? Чего теряю — убьют ли при попытке к бегству, или расстреляют, — один черт!“ — осенила меня мысль.

На опушке леса подвели нас к готовой яме, похожей на канаву. Тут раздумывать было некогда. Изо всей силы я рванулся через могильную насыпь. Одного из палачей сдернул в могилу, а сам перепрыгнул ее и пустился в лес. Это было делом двух-трех секунд. И эти секунды мне жизнь оставили.

Выстрелы меня не задели. Далеко ли гнались за мной палачи, — не знаю, но было напрасным трудом для них бежать за мной. В свои двадцать пять лет я не уступал в беге зайцу. Да вот суди сам, если годы сейчас мне на пятый десяток, а чтобы спасти аварийный лес, я сорок километров пробежал, а местность-то какая! Кочка на кочке, да кочка сверху...

## На „Фармане-30“

В биографии Николая Ивановича Щипунова, или Коли Щипунова, как привыкли звать с давних пор этого славного, теперь сорокадвухлетнего добряка, — есть интересные страницы...

Сидели мы с ним однажды и читали в газетах о только что совершившемся героическом перелете Коккинаки из Москвы во Владивосток и о полете трех отважных женщин — Осипенко, Ломако и Расковой, на гидросамолете из Севастополя в Архангельск.

Это было летом 1938 года. Фашистская итало-германская авиация бомбила мирные города республиканской Испании, а японские самураи из своего резерва с той же целью посылали шестую сотню самолетов в Китай. Наша советская авиация проверяла свою мощь и боевую готовность на практике мирного характера, завоевывая один за другим мировые рекорды.

— Из Москвы до Владивостока в одни сутки!

— Из Москвы через полюс в Америку! Замечательные самолеты, прекрасные летчики! — восхищался Коля Щипунов и тут же, вспоминая прошлое, говорил: — А бывало времечко, чорт побери! На чем мы летали с Карлушей? Не самолет был у нас, а гроб из фанеры. И мотор был более похож на примус, чем на мотор, фык-фык — и застрял, фык-фык — и застрял. А все же летали в разведку и даже бомбили белых на Обозерской. Мотор давал тысячу триста оборотов в минуту. Скорость полета — смешно теперь говорить — девяносто километров в час... Карлуша (вот никак не могу вспомнить его мудреную фамилию) был пилотом, водил машину, а я у него — бортмехаником, ну, и попутно, когда требовалось, я строчил из пулемета. Помню, самолет наш назывался „Фарман-30“, французского производства. Мы его считали чудом техники, а если этот „Фарман“ сравнить с нашими современными самолетами, то все равно, что поставить старую телегу рядом с новеньким

автомобилем „ЗИС“. Одним словом, техника наша совершила громадный полет вперед. Ну, это ты сам знаешь. А вот я хочу тебе рассказать о товарище Карлуше. Хороший был парень, храбрец: неоднократно за боевые отличия, за разведки, за бомбежку имел орден Красного Знамени. А потом, во время третьего похода Антанты, с севера его откомандировали на польский фронт, и там он геройски погиб в борьбе с белополяками. Очевидцы рассказывали, что Карлуша не даром отдал свою жизнь, дорого обошелся он панам!

Я отложил в сторону газету и приготовился выслушать Щипунова о его товарище, о их прошлых, совместных боевых днях.

И, поняв мое намерение, Коля с великой охотой продолжил свой рассказ.

— Дружно мы с Карлушей жили. Душа в душу. Прямотаки любили друг друга. Что есть вместе, и чего нет — пополам. Он меня звал Колей, я его — Карлушей, так и запомнил его навсегда Карлушей. Невысокий, кряжистый крепыш, всегда с загорелым обветренным лицом, в движениях был медлителен, но уж если за что возьмется, то как медведь — своротит. Между прочим, двухпудовыми гирями он и я в ту пору, как мячами, играли. Ты не поверишь, скажешь, откуда силе быть в те годы. Худа кормежка была — это верно. Во многом мы себе тогда отказывали. Но летчиков было мало, работа наша значилась на хорошем счету, и, конечно, кормили нас сравнительно прилично — целый фунт хлеба в день получали, консервы, иногда масло... И вот, хочу я тебе один эпизод рассказать, как мы в ту пору летали. Был бы я писателем, тогда другое дело, все бы это я, как Гоголь, выложил бы слово к слову на бумагу и сказал: на-те, читайте! И про погоду бы написал, и природу бы северную изобразил, каждой бы сосенке — елочке свое место нашел в произведении. А природа с высоты самолета кажется особенная, не та, что мы с земли видим. Вот, скажем, стоим на позиции около Плесецкой. Вокруг непроходимые, необозримые леса, так ведь?.. А поднимемся мы, бывало, с Карлушей на „Фармане“, глянем вниз — там лес, там подсека с пахотой, там деревенька или хуторок приютился на опушке, там просека ровная тянется, а то речка змейкой извивается; иногда озерко где-нибудь обнаружишь. Совсем другое представление о лесе складывается, когда наблюдаешь с самолета. Может быть, тебе приходилось над лесами летать и примечать это?..

Не желая отвлекать рассказчика в сторону, я утвердительно кивнул головой и слушал дальше:

— Была слякотная, дождливая и грязная осень 1918 года. Интервенты нагло хозяйничали тогда в Архангельске, а белки стояли напротив нас на железнодорожном направлении. Сил было у красных маловато, однако фронт около Плесецкой сдерживали на совесть. Подступы к Няндоме, к Вологде были накрепко закрыты.

Однажды наш комдив получил от разведки сведения, что белогвардейский штаб находится на запасном пути, на станции Обозерской в вагонах первого класса. Позвал комдив к себе Карлушу и спрашивает:

— К полету машина готова?

— Машина-то в порядке, только вот за такую погоду не ручаюсь; дождь идет, видимость плохая, разбиться в два счета можно, — ответил Карлуша комдиву, недовольно поглядывая на густые дождливые облака.

— Скажи прямо: трусишь? — сурово спросил комдив.

Знаю, Карлушу это подозрение комдива больно задело, но он и виду не показал, а тем же спокойным, ровным голосом ответил:

— Ни я, ни мой бортмеханик (это он про меня сказал) никогда не трусим и жизни своей для советской власти не пощадим, — машину не угробить бы.

— Ничего не случится, дело неотложное, заправьте самолет первосортным бензином — и в полет.

— Жду ваших указаний! — коротко и отчетливо произнес Карлуша и козырнул при этом.

На инструктаже у комдива я присутствовал вместе с Карлушей. Когда комдив поставил перед нами задачу бомбить штаб белых на Обозерской и обстрелять их резервы из пулемета, Карлуша обдумывал свои соображения о полете. Он начертил на листке бумаги план, рассчитывая пробыть в воздухе около двух часов, и, показывая план комдиву, вдумчиво рассуждал так:

— Товарищ комдив, мы полетим с левого фланга, „обойдем“ фронт, с глубокого тыла „зайдем“ над Обозерской и при такой ненастной погоде с высоты двухсот-трехсот метров будем громить, и тем же путем вернемся обратно.

Комдив согласился.

Заправили мы „чудо техники“. Прихватили с собой шесть бомб весом по десяти фунтов каждая, две бомбы по двадцати пяти фунтов и четыре диска патронов — около четырехсот штук к пулемету „Льюис“. По-теперешнему

столько снаряжения — курам насмех. А тогда нам с Карлушей казалось, что и этим „грузом“ делов наделаем, жару нагоним белякам. Я диски проверил, а он каждую бомбу погладил и тряпочкой вытер.

— Ну, — говорит, — Коля, летим!

— Летим, Карлуша...

Крутнули пропеллер, мотор в порядке. Сели и — в час добрый — на рассвете снялись с посадочной площадки. Шли обходом на высоте трехсот метров над лесом. Моросил дождь. Облака сумрачные и рыхлые окутывали нас со всех сторон. Летели и думали о том, чем же и как кончится наше воздушное путешествие. С тыла мы завернули над линией железной дороги. Будучи уверены, что опознавательные знаки на самолете в ненастье незаметны, мы летели в надежде на то, что белые нас по ошибке могут принять за своих и не сообщат на Обозерскую. И чем ближе подходили к Обозерской, тем чаще и тревожнее бились наши сердца. Но сердце — не мотор „Фармана“, оно не сдаст. Сердца-то у нас были запроважены жгучей ненавистью к белогадам, а это покрепче бензина будет. И вот мы летим. Летим — и вдруг замечаем: мотор „Фармана“ сбавил сто оборотов в минуту, значит выдохаться стал. Мысленно я ругаюсь, как извозчик. „Ну, — думаю, — чорт тебя побери, „Фарманко“, ужели ты нас с Карлушей где-нибудь на лес посадишь?..“

Под нами Обозерская. Вот с железным колпаком — водонапорная башня. Вокзал, рядом с полотном, ничем не отличен от обыкновенных станционных барачков. Кое-где двигаются люди, но видно, что наше появление их не тревожит.

Карлуша сидел впереди меня за рулем. Он обернулся, кивнул мне головой, пошел на снижение. Снизившись до двухсот метров, он выбросил две бомбы одну за другой. И тотчас же сквозь шум мотора послышался треск взрывов. Куда попали бомбы. — из-за дыма нельзя было разглядеть. Карлуша повернул самолет обратно и снова начал швырять за борт бомбы. Теперь я видел, что они попадали в вагоны и вдребезги разносили их. Паровозы, стоявшие на запасных путях, спешили куда-то убраться, одни уносились по линии в сторону фронта, другие — к Архангельску.

На станции произошла паника. Многие бежали к лесу, а иные кучками сбивались у насыпей, и хотя ни выстрелов, ни свиста пуль не было слышно, но следовало думать, что по нам стрельба уже открыта, — иначе не могло быть.

Все восемь бомб сброшены. К пасмурной погоде добавился дым от взрывов. Мы отлетели немного в сторону. Карлуша обернулся и указал мне на пулемет: „Приготовься, дескать“. Я уже был наготове. Мы еще сделали два круга над Обозерской. Тут мы не могли не заметить: по самолету бил пулемет противника, и отовсюду доносились ружейные залпы. Я расстрелял все четыре диска по белякам и дал об этом знак рукой Карлуше. Когда замолк наш пулемет, я сразу почувал, что мотор работает далеко не идеально. Число оборотов снизилось до тысячи ста. Чорт побери, хоть бы до своих добраться! Карлуша понял работу мотора и решил лететь уже не обходом, а прямо через белогвардейские и наши окопы. Другого выхода не было. Значит, белогвардейские пули задела машину, но насколько серьезно, в какое место — в воздухе не определишь. Потом я заметил на своей кожаной куртке масло. Оно стекало на меня сверху из бака. Ну, это еще полбеды. Я вытянулся в открытой кабине во весь рост и, держась одной рукой за борт, мизинцем другой руки заткнул на баке пробойну. Карлуша, заметив это через зеркальце, одобрительно кивнул мне головой. Летим. Под нами проносятся низкорослый болотный сосняк и узкая линия железной дороги. Замечаем, что летим крайне медленно, мотор стучит с перебоями, — тормоз, видать, не только в баке, значит еще пуля задела куда-то в более уязвимое место. Впереди близко фронт. Надо перескочить через него. Наши опасения не напрасны. Высоту набрать мы не в состоянии. Мотор сдал до девятисот оборотов. Того и гляди, или сами грохнемся в белогвардейском тылу, или же беляки окончательно сшибут нас. Я пощупал наган, — в случае вынужденной посадки в тылу у белых есть на что рассчитывать: шесть пуль — врагу, седьмая — в себя. Такой уж порядок. Не выше сотни метров отделяло нас от белогвардейских окопов. Я пожалел, что в дисках ни одного патрона, можно было бы попутно очередь выпустить, благо так низко и так тихо летим.

Но что за чудеса! Из белогвардейских окопов нам машут белыми платками и шапками. Я это отчетливо вижу. Выходит, за своих приняли. Выходит, здесь нас не ожидали... Зато через две-три минуты пришлось нам пережить страх, а главное — от своих. Раз белые по нам не стреляли, то, естественно, красные приняли нас не иначе как за интервентов. Мы видели винтовки, направленные в нас. Никто среди красных не ожидал нас напрямиком. Ведь мы полагали вернуться обходом с фланга. И если по нам красноармейцы

не сделали ни одного выстрела, то лишь потому, что самолет, выбиваясь из сил, шел на вынужденную посадку. И это нас спасло. Но это еще не конец...

Если тебе не надоело слушать и ты никуда не торопишься, доскажу, чем кончился наш полет.

На минуту рассказчик умолк, достал серебряные часы с надписью „Н. И. Щипунову за беспощадную борьбу с контрреволюцией“, посмотрел время и продолжал:

— До штаба дивизии мы не смогли долететь. Пришлось спуститься в такое кочковатое место, откуда взлететь было никак невозможно. Это обстоятельство, очевидно, обрадовало наших красных бойцов. Принимая нас за вражеских летчиков, они решили „захватить“ нас живьем вместе с самолетом. Они приближались к нам вперебежку с винтовками наперевес, махали руками и кричали:

— Сдавайтесь!..

Ну, что ж, как своим не сдаться. Я, улыбаясь, пошел им навстречу с приподнятыми руками, а Карлушу это, очевидно, ничуть не трогало. Он, как только выскочил из кабинки, стал со всех сторон осматривать самолет и насчитал в крыльях, в фюзеляже двадцать шесть пробоин несущественных и две пробоины, которые временно вывели машину из строя, одну — в масляном баке, другую — в радиаторе. Оказалось, от самой Обозерской в радиаторе не было ни капли воды, — вся вытекла в пробоину. Признаться, мы были шибко удивлены: двадцать восемь пуль попало в „Фарман“, и ни одна, даже шутя, нас не задела.

Красноармейцы, проверив наши документы, разочарованные уходили во-свояси. К самолету подскакал верхом на взмыленной лошади командир батареи. Осадив коня, он погрозил нам плеткой.

— Кой чорт летаете, нас не предупреждаете?.. Ваше счастье, что сюда сели, еще бы минуты две-три, и мы бы вас вместо белогвардейцев в пух и прах разнесли бы. Вперед так не делайте...

Погорячился и ускакал, брызгая грязью. Мы остались на месте кропать самолет. Зачинили, запаяли, а подняться из сплошных кочек нечего было и думать. В двух километрах от нашего местонахождения проходила железная дорога. Мы с Карлушей решили отнять у самолета крылья и в разобранном виде, по лесным тропам, с помощью красноармейцев доставить его на разъезд, погрузить на две платформы и отправить в тыл. Так и сделали.

Но еще этим наш боевой эпизод не кончился. Погрузили самолет на платформы, а паровоза нет и нет. Ни-

как не можем отправить. Поблизости к позиции — дело рискованное. Но мы надеялись, что паровоз пошлют и нас с „Фарманом“ утащат... Но так и не могли дожидаться. А потом слышим, — белые хотят наступать, нет покоя нашему „Фарману“ и на платформах.

Опять совещаемся с Карлушей.

— Как быть, дорогой товарищ?

А он мне и говорит:

— Есть еще бензин в баке?

— Есть, — отвечаю я ему.

— Ну, так вот, давай, привяжем фюзеляж с мотором покрепче к платформам, запустим мотор, — и наверняка мы укатим отсюда в более безопасное место.

— А ведь идея, — воскликнул я и обиделся на себя, почему мне, бортмеханику-мотористу, первому не пришла в голову эта простая и мудрая мысль...

Рассказчик умолк.

— Ну, и как удалось это сделать? — спросил я нетерпеливо Николая Ивановича. — Угнали „Фармана“ из опасного места?

— Вполне удалось. Телеграфной проволокой прикрепили мы самолет к платформам, завели мотор на девятьсот оборотов и оба с Карлушей к штабу по рельсам шпарили, что те на дрезине. Кто если со стороны видел, мог подивиться нашему „чуду техники“. В жизни я только однажды так путешествовал, от других ни от кого не слышал, чтобы на самолете по рельсам ездили и платформы с собой возили. Смекалка, брат, во время нужды многое значит.

На этом кончил свой рассказ товарищ Щипунов, бывший бортмеханик с „Фармана-30“, что летал в районе Плесецкой и Обозерской на Северном фронте гражданской войны.

# Заметки о савинцах

## 1. Говорят документы

От ноября 1917 года до июля 1918 года крестьяне Савинской волости, Онежского уезда, на деле поняли, что такое советская власть и что она дала и может дать деревенскому труженику.

До прихода интервентов на Север савинцы наступили на горло местной контрреволюции: проводили реквизицию домов у буржуазии, облагали торговцев контрибуцией, освобождали бедноту от налогов.

На ряду с обсуждением подобных вопросов, общее собрание граждан Савинской волости разрешало и такие „проблемы“:

„Заслушав доклад члена волисполкома о назначении жалования церковному клиру, постановили: назначить жалование попу и псаломщику по 50 рублей в месяц за счет верующих“.

В текущих делах разбирали заявления женихов и невест о выдаче им крупы, „монпасья“ и мануфактуры из запасов общества потребителей. Большинство голосов принимается: „Для свадеб отпустить“.

За двадцать дней до прихода интервентов на Север на общем собрании савинцев обсуждался вопрос о частичной мобилизации солдат-специалистов, ранее состоявших в инженерных и специальных частях. Была вынесена резолюция: „Просим уездный военный комиссариат разъяснить нам, против кого мы должны идти войной, какая цель войны. До разъяснения солдат-специалистов в комиссариат не высылать“.

Голосовало за — 113. Против — 17.

В Онеге высадились англичане. Над Архангельском появились английские самолеты, — и тогда савинской бедноте не потребовалось разъяснений на тему „какая цель войны“.

В эти дни они решили:

„а) Для успокоения населения и выяснения положения установить заставы для связи со ст. Емца и разъездом 416;

„б) В случае прибытия Красной армии в волость (иметь в виду это), поручить продовольственному комитету иметь запас. Взять на учет коров у более мощных хозяйств...

„в) Держать дежурство... Люди в дежурстве должны быть взрослые...“

7 августа на собрании семь савинских активистов записались добровольно в Красную армию, на защиту Советского Севера от интервентов.

Через месяц савинцы на общем волостном собрании обратились с призывом к молодежи:

„Мы, граждане Савинской волости, призываем молодежь записаться добровольцами в партизанский отряд Красной армии для защиты Советской власти, которая стоит на страже трудового народа. Призываем опомниться от старых заблуждений, пока не поздно; мы, граждане, оставшиеся дома, будем всецело поддерживать семейства тех, которые уйдут на защиту наших интересов, интересов революции“. Голосовало за — 80, против — нет, воздержались — 2.

Началась запись добровольцев. Когда в отряде скопилось около сотни красных партизан (а произошло это довольно быстро), тогда сообще была выработана такая инструкция:

„Мы, нижеподписавшиеся, обязуемся: твердо встать на защиту Советской власти от всех разбойников-капиталистов и от всех контрреволюционных темных сил, твердо выполнять все боевые задачи, быть всегда наготове при полном боевом порядке. По первому приказанию начальника отряда и отделенных командиров выступать беспрекословно. При исполнении своей боевой задачи должны действовать дружно все как один, стоять твердо все за одного и один за всех. Не забывать своего места при встрече с неприятелем. Кто будет прятаться за спину своих товарищей и отклоняться от своей задачи, — первый, кто увидит такого подлого труса, должен бить его на месте. Преступников, всех, уличенных в саботаже и провокации, строго наказывать и выбрасывать из своей среды. К сему подписуемся“ (следует девяносто подписей).

Не безинтересно привести еще выписку из протокола собрания Шелексовского отряда красных партизан. Было так: командир отряда послал на заставу несколько молодых, неопытных бойцов. Одному из часовых показалось, что на опушке леса движется противник. У страха глаза велики. Часовой поднял тревогу. А так как сил было ма-

ловато, застава отступила, потребовав подкреплений. Отряд красных партизан возмутился:

— Неслыханная трусость! Разве можно с такими трусами в бой итти? Они собственной тени боятся!

Командир собрал всех партизан. И вот их резолюция: „Обсудив вопрос о случившемся недоразумении на двадцать третьей версте к Большим Озеркам, выносим следующую резолюцию: в виду того, что в отряде (то-есть на заставе) не было старых опытных товарищей, хорошо знакомых с военной техникой, по случаю наступления главной части отряда на Большие Озерки, пришлось назначить на заставу новых товарищей, мало знакомых с военной тактикой. Вследствие этого получилась паника. Поэтому постановили назначить тех лиц до трех раз вне очереди на заставу или в разведку, а вперед назначать более знакомых с военным делом и не допускать таких недоразумений, а если таковые окажутся, и будет кто бы то ни было уличен трусом, то постановили: никаких наказаний, а одну смерть трусам!“

На первый же раз Шелексовский партизанский отряд, о трусах паникерах, в текущих делах того же собрания решил:

Одному — порицание и лишение порции на четыре дня, другому — вне очереди два раза на заставу. Остальным — порицание.

## 2. Находка

Застава была в лесу, в ложбине, вдали от штаба отряда. Линия белогвардейского фронта также находилась вдалеке отсюда. В ложбине стояла лесная избушка. В избушке — телефон для связи с отрядом.

Дежурные партизаны чутко прислушивались к каждому шороху, зорко всматривались в промежутки деревьев. Партизан было двое. Оба молодые добровольцы из Савинской волости. В своих краях, даже в дремучих трущобах леса, они чувствовали себя, как дома.

Один из дежурных, мечтательный юноша, начитавшись на заставе в свободные часы книжек, присланных петроградским „Пролеткультом“, ходил и тихо мурлыкал себе под нос подходящую, казалось ему, песенку:

Не забыть до скончания века,  
Как на фронте в холодном краю,  
Где с ружьем человек человека  
Стережет, как добычу свою...

— Не как добычу, а как врага, которого надо уничтожить, — поправил сосед, перебивая песню.

— Так в книжке написано. Из песни слова не выкинешь, — возразил партизан и продолжал напевать:

Что ты, месяц, опечален,  
Спрятал в тучи ты свой взор...

— Тише, чего распелся! Здесь не свадьба, — строго предупредил юношу его товарищ, тоже не старше по возрасту, но более суровый на вид.

Товарищ замолк. Они прошли с напряженным вниманием шагов двести, остановились и, с полуоткрытыми ртами, прислушались. Где-то в стороне леса потрескивали сучья. Треск приближался в сторону пролегавшей здесь дороги. Дозорные партизаны направились к дороге.

Двое неизвестных, выйдя на просеку, очевидно заметили дозор, вмиг бросились за стволы толстых деревьев и легли в снег. Партизаны быстро и осторожно зашагали в сторону притаившихся врагов.

— Ну, браток, гляди в оба, не иначе — белые шпионы к себе пробираются, — тихо сказал партизан с суровым лицом и взглянул на товарища. У того пропало песенное настроение.

— Кто бы ни был, надо взять. Не будут сдаваться, тем хуже для них: стрельнем — не промажем.

Так, подходя к двум неизвестным, притаившимся за соснами, договаривались меж собою дозорные партизаны. А те лежали в рыхлом снегу, рассчитывая, что дозор минует их, и они снова подадутся лесом в белогвардейскую сторону.

— А ну, бросайте дурака валять! Вставайте, руки вверх.. — Партизаны щелкнули затворами.

Двое неизвестных встали, подняв руки. Оба были одеты в меховые куртки и меховые шапки. У обоих большие очки. В расстегнутых кобурах револьверы. Но перетрусившие белогвардейцы не посмели взяться за оружие.

— Кто вы такие? — спросили партизаны.

— Видите, чего зря спрашивать, — ответил один из неизвестных и медленно начал опускать руки.

— Руки вверх! — послышался опять окрик партизана. — Кто позволил опускать руки? К заставе, сию же минуту!..

— Не пойдем, — отрезал тот же неизвестный и презрительно уставился глазами на партизан. — Отпустите, — потребовал он, — нас много, там позади — целая рота, все равно вас заберут...

Второй задержанный, высокий, сухощавый, с узким, длинным лицом, стоял, точно вкопанный, не шевелясь, лишь по-сматривал то на своего товарища, то на молодых, но грозных ребят.

Партизаны поняли, — второй — иностранец, потому что молчит и, как сыч, ворочает головой.

— Отпустите нас своей дорогой. Вам нужны деньги, табак английский — пожалуйста, — начал просить русский белогвардеец. — У нас много денег, все отдадим, отпустите, — повторил он.

— Какие вы умные! — строго заметил один из партизан.

Другой сказал:

— Нет, таких господ мы за деньги не отпускаем. Скандано: сию минуту на заставу, направо, с поднятыми руками!.. Вот так!..

Задержанные повернули вправо и с поднятыми руками пошли, лавируя между деревьев. В их покрытые снегом спины грозно ошетинились два граненых партизанских штыка.

И вдруг, сделав несколько десятков покорных шагов по направлению к заставе, оба задержанные стремительно бросились в разные стороны. Но партизаны не растерялись. Стреляли они не плохо. Русский белогвардеец убит был сразу.

В интервента произвели несколько выстрелов и угодили ему одной пулей в спину навывлет. Он оказался офицером (по документам — уроженец Канады). Интервент лежал, пробитый пулей. Лицо его казалось еще уже и бледнее. Немигающими глазами он глядел сквозь ветви деревьев на небо и тяжело хрипел.

— Не жилось у себя за границей, за смертью к нам на север приехал. Эх, ты, герой с дырой! — проговорил партизан, который продырявил пулей интервента.

— Да, этот тоже не жилец, — подтвердил другой партизан, осматривая на груди интервента рану.

— А может еще протянет с недельку. Давай, отнесем на заставу.

И дозорные партизаны, подобрав офицерские револьверы и сумки с документами, подхватив тяжело раненого кандаца, повели его на заставу. Начальник заставы стал знаками изображать самолет и жужжать, подражая шуму пропеллера. Раненый интервент кивнул начальнику и сказал несколько раз под ряд:

— Да-да-да...

— Вы, товарищи, встретились с неприятельскими летчиками, факт! — сказал начальник заставы и, обрадованный таким открытием, позвонил по телефону в штаб Шелековского отряда:

— Алло! Это штаб? Кто у телефона? Огарков? Сообщаю вам, — это говорит Михайлов с заставы, — у нас происшествие: наши дозорные убили в лесу летчика — русского офицера и тяжело ранили одного офицера-интервента. Я думаю, что они заблудились в лесу не случайно, а где-нибудь спустились на самолете у нас в тылу, или в нейтральной полосе. Надо пройти по их следам. Вышлите сюда людей. С заставы снять дозорных для этой цели не могу. Что? Высылаете десять человек? Хорошо. Вполне достаточно...

Группа партизан-лыжников направилась по следам летчиков.

В трех километрах от заставы, в болоте около озера Пултозера, был обнаружен самолет, оставленный белогвардейскими летчиками.

— Вот это находка! — обрадовались партизаны и бросились наперебой к аэроплану. В первую очередь они сняли с самолета новенький исправный пулемет. Затем связались с красноармейской частью, стоявшей на позиции, и потребовали летчика-механика. Механик прибыл, осмотрел самолет, сказал:

— Хорош! Только вот трубочку тут одну заменить надо, на полчаса всего ремонта, — и можно лететь...

### *3. На бронепоезд*

Белогвардейский бронепоезд назывался „Колчак“. Бронепоезд был сооружен из обычных платформ, облицован броней; на нем стояли дальнобойные пушки. Пушки — английские; из них архангельские беляки обстреливали станцию Емцу.

На Емце находился штаб красноармейской бригады. Надо было избавиться от визитов „Колчака“ и для этой цели в штаб бригады позвали группу красных партизан. Им, хорошо знающим условия местности, командование Красной армии поручило взорвать белогвардейский бронепоезд.

Позицию белых пересекал 443-й километр железной дороги. Бронепоезд стоял на разъезде 448-го километра. На пять километров проникнуть в тыл белых — дело не легкое.

Стояли тридцатиградусные морозы и лежал глубокий, рыхлый снег. Сначала партизаны пошли в разведку с двух сторон. С 441-го километра они свернули в гущу леса и прошли вглубь два километра.

— Ну, теперь пора сворачивать и идти лесом вперед, — сказал старший разведчик. И они шли в белогвардейский тыл. Рыхлый снег не выдерживал их даже на лыжах. Шли вброд. Выбивались из сил, но пришли.

Обход был удачен, разведчики вышли как раз на разъезд, где в тупике стоял бронепоезд. Торчали прикрытые брезентом пушки, их жерла были направлены в сторону фронта.

К бронепоезду прикреплены теплушки, очевидно с артиллерийской прислужкой. Теплушки дымили. В морозные дни их отапливали беспрерывно. Солдат около бронепоезда колол дрова.

Неподалеку стоял часовой. В стороне за линией железной дороги, почти вровень с сугробами снега, чуть заметно дымили землянки.

Партизаны-разведчики высмотрели все это и незаметно, по своему следу пустились обратно. Результаты доложили своему командованию.

Тогда был организован отряд из самых боевых ребят. Все они оделись в белые халаты. В темную вьюжную ночь отряд выступил на бронепоезд.

Проводниками были разведчики савинцы. Теперь они шли наверняка сбить бронепоезд. Отряд тащил за собой трехдюймовую пушку.

Время двигалось к рассвету. Медлить было нельзя. Бойцы, с орудием идя по глубокому снегу, отставали от партизан-лыжников. До рассвета надо было выполнить боевое задание.

Решили на ходу перестроиться. Вперед ускоренным шагом двинулись подрывники. Кроме винтовок и гранат, они несли с собой свертки пироксилина. Перед рассветом часть отряда вышла к железнодорожному полотну. Бронепоезд стоял там, где его обнаружила разведка. Раздумывать было некогда.

Часовой в английской шубе лениво шагал около бронепоезда. Мороз крепкий, северный и расположение в глубоком тылу, вдали от передовой линии, в эту предутреннюю рань навеяли дремоту на беспечного солдата.

Холодный штык впился по самый винтовочный ствол в бок часового, тот даже не вскрикнул. Роняя ружье, он глухо прохрипел и свалился вниз головой под откос.

Подрывники из красных партизан бросились к бронепоезду. Затрещали выстрелы. Пули решетили вагоны, где находились белогвардейцы. Иные из них, обезумев от неожиданного нападения, выскочили и кинулись в ту сторону леса, где находились землянки. Но было поздно. Раздались оглушительные взрывы. Рельсы, извиваясь, как змеи, с визгом и грохотом рванулись из-под колес бронепоезда. Площадки вагонов с орудиями швырнуло с полотна.

— Ну, и силища! — восторженно проговорил командир отряда, стоявший под прикрытием неподалеку от места взрыва.

— А все-таки еще не кончено, — сказал он и, обращаясь к подрывникам, добавил: — еще пироксилину, и надо окончательно разворотить; кто знает, может пушки еще уцелели. Взорвем!..

Из землянок, с противоположной стороны полотна, показались белые. Началась пальба, сначала из винтовок, потом из пулемета. Под огнем противника, нагибаясь, подрывники еще раз пробрались к бронепоезду и, взорвав орудия, окончательно их искалечили.

Затем красные партизаны, отстреливаясь, отступили в лес. Двое савинцев — Нечаев и Шентов при этой вылазке в белогвардейский тыл были убиты, это были первые жертвы шелексовского отряда.

Белогвардейский бронепоезд „Колчак“ замодк.

Белых вытеснили с позиций. Они неудержимо откатывались на север, красные бойцы преследовали их.

Случалось белякам где-нибудь задержаться на новой линии укреплений, и тогда возобновлялась перестрелка. Красноармейцы и партизаны в ожидании более жарких схваток потешались над улепетывающим врагом и в минуты веселых развлечений пели наскоро сложенные песенки:

Трынди-брынди, балалайка,  
Ну-ка, белый, вылезай-ка,  
Мы померимся с тобой  
Нашей силой боевой.

Что ж вы, белые скотины,  
Показали ваши спины  
И, поджавши животы,  
Задаете лататы..

Эх, звени, струна стальная!  
Радуйся, страна родная,  
Красной удали полков,  
Что волтузят беляков...

#### 4. Большие Озерки

В Больших Озерках засели белогвардейцы на целую зиму, — рассчитывали, укрепившись, пробить здесь до весны. И продовольствием, и обмундированием зимним, и оружием они обеспечены. Среди солдат в Больших Озерках находились польские легионеры, англичане и американцы, более трехсот человек. Пулеметные гнезда приспособлены в овинах, снаружи политы водой и заморожены. Ледяную „броню“ пулеметных гнезд можно пробить только из оружия. Красные партизаны имели в Больших Озерках свои разведывательные щупальцы и отлично были обо всем осведомлены.

В марте девятнадцатого года 150 красноармейцев и 45 красных партизан-савинцев под командой Солодухина пошли в наступление. От станции Емцы до Больших Озерков 75 километров. Впереди наступавших шли лыжники, за ними десятка полтора всадников; красноармейцы протаптывали дорогу позади них, расширяя лесные тропы, чтобы легче было тащить две пушки — трехдюймовку и „макленку“ и немного снарядов к ним. При морозе, достигавшем 30 градусов, бойцы дошли до Больших Озерков в два дня.

Большие Озерки — это куст из семи деревень на тракте между Чекуевым и Обозерской. Красные сначала отрезали Большие Озерки с обеих сторон — и от Чекуева и от Обозерской. Белые приготовились к бою. Красные выжидали: вскоре с Обозерской на Онегу через Большие Озерки должен был двинуться обоз с продовольствием и обмундированием. Обоз не заставил себя долго ждать. Длинной вереницей четыреста груженных подвод потянулись к Онеге.

Командир красной колонны Солодухин, выделив группу красноармейцев, распорядился белогвардейский груз отправить на Емцу в тыл красных войск, как первые трофеи, взятые без боя. Белогвардейский обоз под охраной красноармейцев по проторенной тропе лесом двинулся в тыл. Покончив с обозом, отряд, оставив заслоны на тракте, стал нажимать на большеозерковские деревни.

Белые без боя сдали красному отряду одну из деревень — Лужки. В Лужках для „угощения“ партизан и красноармейцев они оставили три бочки спирта и своего шпиона — переодетого офицера. От „угощения“ красный отряд воздержался. К бочкам поставили часового. Тогда же в Лужках, один из руководителей отряда, Дьяков Семен, хорошо знавший всех жителей Лужков, заметил постороннего подозрительного человека.

— Ты кто такой? — спросил Дьяков юркого, с плутоватыми глазами, незнакомца.

— Я столяр, работаю тут по заказам.

— Так, так, а руки-то у тебя что-то, кажись, не рабочие, канцелярские руки,— заметил Дьяков и добавил:— А ну-ка, ребята, обыщите его.

Обыскали, ничего уличающего не нашли. Дьяков спросил:

— А у кого в деревне столярничаешь?

— У Мурашева.

— А ну-ка, ребята, позовите Мурашева, спросим его. Крестьянин Мурашев пришел и, отрицательно покачав головой, заявил:

— Тут что-то не ладно. Я такого столяра первый раз вижу.

Шпион струсил, признался.

Приговор ему был краток:

— А ну-ка, ребята, на задворки его — в расход!.

Началась перестрелка. На стороне белых триста бойцов, шесть пулеметов. У красных осталось после отправки захваченного обоза менее двухсот человек и два орудия. После ружейной перестрелки к отрезанным от чекуевского тракта белым красные послали для переговоров одного бойца: предлагали им сдаться.

Белые допустили посланца только до моста, отделявшего их от красных. На мосту он был убит. Тогда трехдюймовка и „макленка“ были пущены в дело. Пулеметные гнезда белых расстреливались в упор. Ледяная броня не выстояла против снарядов. Осколки льда, бревен, части пулеметов и пулеметчиков взрывами были разбросаны по снегу. Красные перевели прицел на дома, где засели белые. Путь отступления и на Обозерскую и на Чекуево был им отрезан. Броситься белым в стороны по глубокому снегу — значит сразу же попасть на мушку. Осталось им либо погибнуть с оружием в руках, либо сдаться в плен на милость победителя. Сдались. При подсчете пленных оказалось 170 русских белогвардейцев и 120 иностранцев.

Командование бригады предложило красным партизанам выделить лучших бойцов для представления к награде. Партизаны — коммунисты — так ответили на это предложение:

„Мы, партизаны, действовавшие в бою у Больших Озерков, все поступали так для защиты нашей добытой кровью свободы от хищников международного капитала и жаждем мести за все понесенные нами как прежде, так и в настоящее

время лишения. Получив боевой приказ о занятии дер. Большие Озерки, пошли все, как один за всех, и поэтому у нас особо отличившихся не оказалось. Пусть это будет первая заслуга всего партизанского отряда. И вперед мы, партизаны, торжественно обещаем так же стойко и дружно сражаться против хищников международного капитала до тех пор, пока не сотрем их с лица земли. Наш лозунг — „Победить или умереть“ не на словах, а на деле“.

## 5. Знамя отряда

У славных шелексовских красных партизан имелось, свое простенькое красное, из кумача, знамя. Оно было прибито к еловому древку без наконечника, и на нем стояло только три слова „Победить или умереть“. Но со знаменем в руках идти на коварного врага и представлять собою удобную мишень не было никакого смысла. Знамя развешивали в особо торжественных случаях. И тогда каждый боец видел на нем памятные, как клятва, слова и еще крепче сжимал винтовку.

А вообще, в боевые будни, красные партизаны в своей местности умело истребляли интервентов и белогвардейцев, знамя же, обернутое вокруг древка, покрытое пылью, лежало в штабе отряда на вешалках. Никем знамя не оберегалось, и никто даже внимания на него не обращал.

И вот случилось такое дело. Белогвардейцы стали теснить наши войска в железнодорожном направлении. Как ни горько савинцам было уходить из своей волости и оставлять на произвол интервентам свои семьи, пришлось временно отступить.

Отступили в порядке, без паники. Укрепились на новых позициях. Все военное имущество до мелочей было вывезено. В бывшем помещении штаба отряда оставили совершенно голые стены и... забыли знамя с боевым лозунгом.

Один из активистов отряда с горечью посмотрел с новой позиции на свою покинутую деревню и стал седлать лошадь.

— Ты куда, Яков Иванович?— спросили его товарищи.

— Хочу к себе домой на чашку чая съездить, пока белогады нашу деревню не заняли.

Бойкая лошаденка взвилась под партизаном. Он скакал к своей деревне. Но не успел попить чайку. Белые начали хлестать снарядами. Яков Иванович круто повернул лошадь, доехал до той избы, где находился штаб. „Не позабыто ли там чего-нибудь“, — подумал Яков Иванович.

Оставив у коновязи лошадь, он забежал в избу. Обнаружив на вешалке знамя, Яков Иванович почувствовал, как ущемило его сердце.

— Вот ведь, черти, такую штуку забыли прихватить!— проговорил он сам с собой и мысленно представил себе, какую свистопляску устроили бы белогвардейцев вокруг красного знамени. В газетах наврали бы, будто Шелексовский краснопартизанский отряд, состоявший из большевиков Савинской волости, разгромлен, — белогады на вранье горазды... Нет, не будут савинцы разбиты, и не видать интервентам этого знамени!.. Яков Иванович снял с древка красное полотнище и, привязав к седлу, помчался обратно.

А потом, при наступлении на белых, знамя где-то осталось в тылу и затерялось. Сейчас его жалеют боевые савинцы, жалеют как память о днях героической борьбы за освобождение Севера.

... Шелексовский краснопартизанский отряд, состоявший из крестьян Савинской волости, оказал большую помощь нашей Красной армии.

Савинцы-большевики, партийные и беспартийные, не жалея своих сил, беспощадно боролись против белогадов. С первых дней интервенции вплоть до освобождения Севера от белых и интервентов савинцы не выпускали из рук оружия. Их родные деревни находились в самом пекле гражданской войны, подвергались артиллерийским обстрелам, пожарам. Их семьи были заложниками у белых, терпели издевательства в тюрьмах, гибли в каторжных карцерах на Мудьюге и Иоканьге. Но ничто не могло сломить стойкости красных партизан.

После гражданской войны шелексовские партизаны в Плесецком районе первыми вступили в колхозы. На работе в лесу они повсюду известны как лучшие производственники-мастера леса.

## Дело было во дворе тюрьмы...

Словами не передать, разве цифрами можно подвести итог тому, что „дала“ интервенция нашему Северу. Награблено интервентами на Севере разного сырья — льна, пушнины, лесу — на 50 144 000 рублей (кроме контрабанды). Отобрано скота у населения на 70 000 000 рублей. А весь экономический ущерб от интервенции беломорскому северу выражался в сумме 650 000 000 рублей золотом.

„Пропущено“ через тюрьмы интервентами 52 000 человек или 8,5 процентов всего населения Севера...

Сколько расстреляно, сколько сгноено интервентами в тюрьмах, точных данных нет; во всяком случае, на Иоканьге, на Мудьюге, в Архангельской губернской тюрьме погибли тысячи людей — борцов за советскую власть, за социализм.

Могильные курганы, стены тюремных карцеров, пресловутые Мхи — место расстрелов — немые свидетели жуткого варварства „союзных“ держав на побережье Белого моря.

В Архангельской губернской тюрьме одновременно томилось около 2000 человек, из них небольшая часть большевиков, значительное же большинство — сочувствующих советской власти.

Зачастую расстрелы производились на Мхах неподалеку от тюрьмы, так что минут через пятнадцать после ухода смертников выстрелы доносились до тюремных решетчатых окон. В первую неделю после пасхи, в 19-м году из губернской тюрьмы интервенты вывели на расстрел 90 человек. В дни массовых казней тюремная охрана из белогвардейцев и иноземных офицеров шумела и гремела по коридорам и лестницам вонючей, доведенной до состояния очага эпидемической заразы, тюрьмы. Палачи нервничали. Чувствовали, что за пролитую народную кровь им не миновать расплаты.

В процедуры казней и пыток иногда контрразведка привлекала долгогривого попа. Тот с крестом и чашей

причастия ждал смертников, обдумывая, как бы искусней выудить у них возможно скрытую тайну.

Заключенные не раз наблюдали подобные картины во дворе Архангельской тюрьмы и через битые окна тюремной церкви.

Перед расстрелом учителя Феликса и большевика Шабунина поп обратился к ним с предложением покаяться в грехах и держал наготове чашу с причастием.

— Покайтесь, нечестивцы, доколе ваши грешные души не расстались с телом вашим...

Контрразведчик в рясе увивался, лебезил перед двумя приговоренными к смертной казни, он всячески пытался выведать их революционно настроенных сообщников, находившихся на свободе.

Не удалось. Вместо покаяния поп услышал презрительно-гневный ответ учителя Феликса:

— Долгогривый пес, вымой руки в моей крови, но ты не услышишь моего раскаяния!..

„Исповедь“ на этом кончилась.

Приговоренных на грузовике вывезли за ворота тюрьмы. Послышалась стрельба со стороны Мхов. Заключенные, наблюдавшие из окон своих камер за „исповедью“, услышав выстрелы, почтили долгим молчаливым стоянием память расстрелянных товарищей.

На другой день тюремные могильщики под строгим секретом передавали в надежные уши сообщение о расстреле. Они рассказали о том, как смертники до последнего мгновения сохраняли героическое спокойствие духа, и один из них сказал громко:

— Проклятье палачам-белогадам!

Другой крикнул во весь голос:

— Да здравствует революция и советская власть!..

И еще помнят оставшиеся в живых очевидцы смерть героя гражданской войны на Севере товарища Ларионова. Он был начальником красного отряда на Печоре и попал в руки белогвардейцев и их союзников. Ларионова и еще шестерых большевиков вывели из тюрьмы во двор. Их убивали не всех сразу. Пока убивали первых трех, остальные стояли неподалеку и ждали своей очереди. Конвой палачей состоял из англо-французских, итальянских, сербских солдат и русских белогвардейцев. Перед смертью Ларионова спросил белый офицер, не желает ли он что-нибудь передать родным. Ларионов стоял у стены, повернувшись лицом к палачам, в его глазах горел огонь ненависти к заклятым врагам.

— Вы спрашиваете, что передать? Вот передайте моей сестре на память, если сами не украдете...

При этих словах Ларионов снял со своей руки кольцо и подал стоявшему поблизости конвоиру.

„Если сами не украдете...“ Это было сказано так просто, спокойно и, очевидно, не в бровь, а в глаз, что палачи в смущении переглянулись.

Мертвую тишину нарушил опять тот же золотопогонник, руководивший расстрелом. Он спросил Ларионова:

— А не желаешь ли перед смертью завязать себе глаза?

Ларионов на это ответил:

— Что ж, если вам совестно нас убивать, то можете завязать себе глаза, а мы сумеем умереть и с открытыми глазами...

Выдержка героев-большевиков приводила в трепет трусливую свору палачей. Они не могли не видеть в этом правоту тех, кто со спокойной совестью становился на край могилы и салютовал последними словами коммунизму...

Война продолжалась. Красные войска упорно сдерживали фронт на старых позициях, не пропуская интервентов в глубь страны.

Трещал белогвардейский тыл. Генерал Марушевский, опиравшийся на кулацкую партизанщину, придумал способ массового выявления сторонников советской власти. Он обратился к населению: „Кто желает ехать в Советскую Россию, тот может быть пропущен через фронт, — скатертью дорога!..“ Нашлось около шести тысяч простаков, поверивших генералу, — и они жестоко поплатились. Большинство из них попало в тюрьмы. А кое-кому при переправе через фронт белые пустили пулю в спину. Генерал Марушевский торжествовал.

Изобретательный генерал пошел дальше. Видя, что интервенты проявляют „героизм“ главным образом на грабеже и контрабанде, а белая „народная“ армия тает, как воск, под огнем красных войск, Марушевский додумался пополнить свою рать таким способом.

Он создал смешанную комиссию из „союзных“ представителей, прихватил с собой для зарисовки впечатлений „военного“ корреспондента, отъявленного сторонника белогвардейщины, и со всей золотопогонной свитой направился во двор Архангельской губернской тюрьмы. Начальник Брагин, захлебываясь, наскоро рапортовал белому командованию о состоянии вверенной ему тюрьмы.

Положение в тюрьме было таково: сыпняк, тиф, цынга и другие заболевания косили десятки и сотни заключенных.

В то время как раз французская стража, перепуганная эпидемией в каторжной тюрьме на Мудьюге, потребовала, в целях самосохранения, перевода мудьюжан-каторжников в Архангельскую губернскую тюрьму. Ужасен был режим в этом белогвардейском застенке, но кто побывал на Мудьюге, тот считал губернскую тюрьму курортом по сравнению с могильными карцерами каторги, созданной интервентами на пустынном острове Мудьюге.

И вот, окруженный свитой офицеров-интервентов, переводчиков, Марушевский приказал Брагину вывести из тюрьмы всех заключенных и построить их по-военному во дворе тюрьмы.

Тюрьма зашевелилась, зашумела. Заключенные в недоумении спрашивали надзирателей, старых тюремщиков:

— Что случилось? Почему всех во двор? Может под пулемет, или всем свобода?

Тюремщики бряцали ключами, возбужденно покрикивали на арестованных:

— Марш во двор! Начальство наехало, оно больше знает, оно разберется. Марш во двор!..

На притоптанный мерзлый снег вышло во двор Архангельской губернской тюрьмы шестьсот заключенных. Они сбились в общую кучу, недоуменно поглядывали на стоявших в стороне золотопогонников, сдержанно переговаривались между собой. И, хотя день был серый, снег казался ослепительным, заключенные учащенно мигали, переминаясь на месте. Все они были полуоборванные, немытые, небритые, изнуренные голодом и болезнями, еле-еле держались на ногах.

— В две шеренги стройся!— подал команду Брагин. И толпа растянулась по двору длинным неровным строем.

— Ровняйся!.. Смирно!.. Голову направо!..

Строй заключенных притих, лишь слышались тяжелые вздохи больных, стоявших во второй шеренге, переминавшихся с ноги на ногу.

— Сколько их тут?— спросил Брагина генерал Марушевский, махнув перчаткой в сторону заключенных.

— Шестьсот, ваше превосходительство,—ответил тот.

— А остальные?

— Тысяча в заразных камерах, те не в состоянии выйти.

Марушевский нахмурился и натянул перчатки.

Переводчики разговаривали с офицерами-интервентами. Военный корреспондент, невысокий, коренастый, как гриб боровик, в шапке и шубе с бобровым воротником, юлил перед Марушевским, проворно носился от одного пере-

водчика к другому, становился на цыпочки и лизал глазами интервентскую знать, пожаловавшую на „смотр“ заключенных.

— Эй вы!..— раздался вдруг голос генерала Марушевского после того, как он посоветовался с Брагиным:— в тюрьме тысяча шестьсот человек арестованных — целая армия... Кормить даром такую армию в наше время — преступление. А поэтому мы решили вас мобилизовать. Матросы, зараженные большевизмом, могут отойти в сторону, их нам не надо!..

Строй заключенных заколыхался. Люди в бескозырках, бушлатах и пестрых полосатых фуфайках отходили в сторону. Многие недоумевали, что означала такая размежка арестованных, что значит „мобилизовать“, куда, для каких целей „мобилизовать“.

Марушевский пояснил:

— Командование народной армии вам предоставляет возможность искупить свою вину. Мы предлагаем вам вступить добровольцами в белую армию. Из вас мы создадим специальный полк и назовем его именем известного английского генерала Дайера... Господин военный корреспондент, вы — представитель прессы, так и запишите: полк будет называться „Дайеровским“. Тот, кого запишем в этот полк, завтра же будет на свободе, в казарме...

В рядах моряков послышался шопот:

— Ничего себе, видно довоевался генерал до ручки!

— Добровольцы поневоле!.. От этих будет польза...

Не встречая возражений со стороны заключенных, Марушевский продолжал:

— Вы будете сыты английским бисквитом, мы вас оденем до ниточки во все английское, но и потребуем, чтобы вы боролись храбро и честно против большевистских советов. Понятно?

Заключенные молчали. Вербовка в „добровольцы“ проходила так быстро и неожиданно, что многие не знали, что сказать в ответ генералу. У многих мелькнуло в сознании: „А что ж, если бы дали винтовки, так мы посмотрели бы, с кем нам быть“.

Истолковав молчание заключенных как знак согласия, кто-то из свиты генерала предложил:

— Приступим, господа, к опросу добровольцев.

И тогда с обоих флангов пошли офицеры-интервенты и переводчики, а между ними сновал юркий военный корреспондент.

Заключенных спрашивали:

— Где служил, с кем воевал, имел ли заслуги? — и после этих вопросов записывали фамилию, имя и отчество в список Дайеровского полка.

В общих рядах среди заключенных стоял рослый большевик, бывший комиссар дивизии, захваченный в плен интервентами при отступлении красных из Архангельска.

Военный корреспондент подскочил к нему и начал спрашивать, а затем убеждать:

— Вот вы — участник русско-японской войны, вы сражались против немцев, вы заслуженный человек, должны послужить нашей родине.

Бывший комиссар обвел глазами заключенных, поглядел на свиту Марушевского, — там англичане, французы переговаривались между собой и дымили сигаретами.

— Продаться белым, как они продались и продали родину интервентам? Ни за что!

Комиссар вышел из строя и отчетливо произнес, обращаясь к начальнику тюрьмы:

— Господин начальник, тут вышло недоразумение. Я категорически отказываюсь от какой бы то ни было службы белым. Сам я, как вам известно, бывший комиссар красных, мои сыновья дерутся против белых...

В свите Марушевского произошло замешательство. Переводчики суетливо переводили англо-французским офицерам заявление заключенного большевика. Военный корреспондент плевался и нервно чиркал в блокноте.

Больше всех волновался Брагин, его поразила смелость большевика-комиссара. Но Брагин улыбнулся и, подойдя почти вплотную к заключенному комиссару, заискивающим тоном сказал:

— Это ничего не значит. Дайте генералу честное слово, что вы будете ему служить, и все ваши проступки вам будут прощены.

Свита насторожилась. Корреспондент прислушался, приготовился подхватить то, что скажет большевистский комиссар. Но карандаш точно примерз к руке корреспондента.

— Нет, я не могу дать генералу честного слова, я могу служить честно только Красной армии, — сказал он.

— Нам такие не нужны, на Мудьюг его!

— О! Такой большевик, ф тюрем их на Мудьюга! — послышались голоса из свиты.

Брагин, сжимая кулаки и скрежеща зубами, прошипел комиссару:

— Придется, как собаку, сгноить тебя в тюрьме...

Комиссар оглянулся и увидел, что вслед за ним шагнули из строя человек тридцать заключенных и во всеуслышание заявили:

— Мы не хотим быть обманутыми и воевать против своих не будем...

— Вот как!— неистово проверещал Брагин.— Вот она, большевистская-то зараза! Ну, и возьму я вас, сукины дети, в оборот!... Узнаете вы меня!..

Настроение генеральской свиты окончательно испортилось. Заключенные были довольны тем, что сегодня им посчастливилось постоять на вольном воздухе и в досталь подышать.

Все же генерал был настойчив. Полк имени Дайера был создан, „добровольцы“ из заключенных превратились в солдат „народной“ армии. Белогвардейские военные и штатские корреспонденты заранее расхваливали Дайеровский полк, но в скором времени они готовы были отгрызть себе пальцы.

Дайеровцы, среди которых были смелые организаторы, решили „прославить“ имя английского генерала, которое было им присвоено. Бойцы, получив оружие, единодушно восстали, уничтожили своих командиров и союзных офицеров и перешли на сторону Красной армии.

Заключенный комиссар, отказавшийся от службы в белогвардейском полку, обратил на себя внимание тюремной администрации. Решили его и многих других большевиков взять измором. Их снова перевели из губернской тюрьмы на Мудьюг — „Остров смерти“. В начале осени 1919 года этот бывший военный комиссар и моряк-большевик С. подняли восстание заключенных на острове Мудьюге, перебили часть белогвардейской стражи и совершили гердический побег с каторги интервентов.

# Как кулаки белогатам помогали

## 1. Окопы

— Много событий из гражданской войны я помню. Думал, под старость все они выветриваться начнут и забудутся. Бывает, что ошибаюсь во времени, да фамилии с деревнями путаю из-за давности. А так, что было, то было, в голове сидит крепко, хотя и слабею памятью. На-днях тут шел по улице, вижу — водопроводчики канаву роют, ну, и ройте себе на здоровье, какое мне дело до этого. Но вечером из-за этой канавы, напомнившей мне окопы, новый эпизод в голову пришел. Это о том, как я с кулачеством в опасный момент столкнулся.

До прихода англичан в Архангельск я большими делами ворочал: был в комиссии, а комиссия эта буржуазию ликвидировала. Нагнали мы им тогда жару. Только и нам стало туговато. Интервенты в Мурманске, интервенты в Онеге, не сегодня — завтра ожидают к нам в Архангельск. Эсеры и прочая сволочная публика головы подняли, козырем ходят. Силы у нас маловато, видим — не совладать с иностранной силой и вооруженностью. Быстро собрались, взяли, что поважнее, что поценнее и нужнее, и на пароходах вверх по Двине-матушке к Котласу. Слишком большой тогда мы заплыв сделали. В Котласе собрались, подсчитали бойцов и оружие, оставили грузы, сами айда обратно на Двинской Березник, чтобы интервентов далеко не пустить.

Павлин Виноградов тогда еще был жив. Он меня подзвал и дает распоряжение:

— Товарищ Попов, поезжай в Верхнюю Тойму, собирай народ; ройте окопы. Буржуев заставляй рыть в первую очередь...

Ни слова больше. Я поехал. Со мной еще поехал товарищ, по фамилии Бобыль; он да я — нас двое, и больше никого. Появились мы, два добрых молодца, в деревнях Голубине и Верхней Тойме. Буржуазии там было до чорта,

кулак на кулаке, торговец на торговце; такие, как Макеев, Лапин и прочие паразиты. Выгоняем их на поле рыть окопы. А буржуи—они не ахти какие работники, к лопате не привычные. Пришлось на прибавку к ним взять побольше трудящихся. И надо бы нам с Бобылем подумать сначала и сделать так: разъединить их, отделить трудящихся от паразитов. Вы, дескать, буржуи, копайте здесь с одного конца поля, а вы, товарищи,—с другого. Так бы лучше было. Мы с Бобылем не додумались до этого, и дело пошло насмарку. Кулаки всех тогда против нас обернули.

— Ройте,—говорим,— вот вам так линия, так зигзаги, здесь блиндажи, тут гнезда для пулеметов...

А они, паразиты, посмеиваются над нами, видят— сила на их стороне. Мужиков сомутили, те лопатки побросали, молча покуривают, у кого табак есть, а у кого нет— на нас посматривают косо.

Мы с Бобылем агитировать:

— Так и так, товарищи, и вы, господа буржуи, надо по приказу красного командования здесь возводить укрепления. Мы тут будем давать отпор белогадам, интервентам тоже.

Видим, на нашу агитацию кулаки с топорами к нам под самый нос лезут.

— Воюйте, где хотите, а мы свои поля портить не дадим под окопы...

По-теперешнему это смешно, товарищ, а вот тогда так и заявили: „Не дадим поля портить“. Мы опять с Бобылем свое:

— Время,—говорим,— военное. Никто вас не спросит, где надо воевать и чьи поля портить. Ройте и более никаких!..

Шум страшный поднялся. Кулаки заорали во все глотки:

— Собирайте всех мужиков! На общем собрании решим!

— Никаких собраний!—говорим мы.

Однако они собрались. Я говорю Бобылю:

— Ты крой за подмогой, а я останусь разрешать вопрос.

На собрание кулаки привели председателя сельского совета под руки, как архиерея какого. Это был сын крупного паразита кожевника. Трус с головы до пят. Сидит он, председательствует и трясется. Слова вымолвить не может. Кулаки ему подсказывают: „Голосуй, кто против рытья окопов. Голосуй, вот тебе резолюция: земли под окопы не давать, топоров, лопат, пил не давать. Если же

власти будут учинять насилие, то итти против власти друг за друга". Председатель проголосовал, кулаки и все, которые под их дудку, подняли руки против окопных работ.

Тогда я выступаю с речью. Зло меня взяло. Голос как будто не свой.

— Что вы, — говорю, — делаете? Граждане, на чьем поводе даете себя вести и против кого?..

Не успел я развернуть свою речь, кричат в сто голосов

— Долой! Укотошить его надо!..

И, пожалуй, убили бы, да наверное моей смелости испугались. Как же так: один против них и не трушу, с чего бы это? Знать, за моей спиной они силу красных чувствовали.

— Убейте, — говорю, — если вам так хочется. Я один, мне с вами не справиться. Но то, что я вам говорю, придут другие и сделают. Колесо истории без вас закручено Лениным, большевиками, и не вам его затормозить...

Опять орут благим матом:

— Долой! Окопы рыть не станем.

Сегодня не роют, завтра не роют. А я жду-поджидаю. Послезавтра утречком слышу: на улице пулемет тра-та-та.

Оказывается, мой товарищ Бобыль приехал. А вместе с ним отряд Хаджи-Мурата — двадцать пять всадников, молодец к молодцу. Эти, брат, маху не дадут. Сразу восемь человечков из кулачья убрали, и работа пошла. Давно бы, — говорю, — так. А то, сволочи такие, в угоду белой армии подстрекательством занимались. Мужики в знак извинения хорошо работали. Из отдаленных деревень мы никого не звали, и то приходили помогать.

Однажды ко мне пришла беднота и говорит:

— Товарищ Попов, ты тут у нас в роде комиссара, мы к тебе с важным делом. Выследили мы, что у паразита Лапина под взвозом есть яма, засыпана свежей землей. А что зарыто — про то не можем знать...

Я послал комиссию. Копнули, а там хомуты зарыты новенькие и десять ящиков гвоздей. Ох, и взъелись тогда мужики на Лапина.

— Сволочь, — говорят, — ты, вселенская, гидра. Не у тебя ли мы просили, не тебе ли кланялись, лишь бы дал десяток гвоздей. А тут на-ко, десять ящиков, вот они где, гвозди-то!.. Дать ему, сукину сыну, паразиту, фунт гвоздей для последней надобности, остальное — нуждающимся...

Окопные линии пересекали верхнетоемские поля вкривь и вкось. Работа кипела. Через две недели приехали петроградские вооруженные рабочие. Окопы для них были готовы.

## 2. Беседа с Антоном Васильевичем

— Антон Васильевич, вот ты, трудовой элемент, находишься в тылу у белых. Расскажи, как ты чувствовал себя при их власти?..

— Что творилось в Архангельске, нам тогда было неизвестно. Я в Мезенском уезде в ту пору проживал. В селах Устьвашке и Едоме кулак Киприянов Серега и начальник почты Иванов за мужиков взялись. Собрание за собранием проводят, слух пускают — советской власти конец. В Архангельске новая власть — временное правительство. Ну, думаем, „временное“, — значит скоро сшибут правительство это. Тебе с самого начала все по порядку рассказывать?

— Да, по порядку, все, что запомнил.

— Как не помнить! Память моя не решето, обо всем помню. В Лешуконское какого-то генералишку прислали, Шапошников по фамилии, и полковника Павловского. Отродясь таких чинов не видали, однако их не устрашили. Им прислуживались кулаки Зотиковы и еще поп Мелентьев. Ужасные гадюки были эти Зотиковы, жадные до наживы, что свиньи: жрут-жрут и сыты не бывают, богаты были, а все им мало. А поп Мелентьев, ох, и сволота был. Всю жизнь хвостом вилял да зубы скалил. Любил в проповедях народ осуждать. То ему не ладно и другое не ладно. А народ около нас такой: верит не словам, а делам. Речи-то бывают и сладки, а чуть дела коснется, оно горше хрена. Так-то вот и этот попишка — слуга белогвардейский. С виду — апостол, а в душе — кобель пестрый. Ну, да мы тутошние, тамошние, сумели его раскусить и цену ему определить. Болтай, сколько хочешь, все без толку, собака лает — ветер уносит. Когда переворот такой в жизни начался, поп струхнул, на крест и молитвы надежда маленькая, стал приходиться на собрания с карабином и призывать народ послужить добровольно. „Большевики — это звери“; так он их разрисовывал, что, по его словам, большевикам даже в аду места не находилось. Дело это было, забыл тебе сказать, в селе Пыльме. Может, бывал в наших местах? Там у нас есть такой Ваня Бедный. Сидел он на собрании на полу, к лавке привалившись. Мужик такой смелый и на слово едкий. Не поднимаясь с полу, и говорит попу в присутствии генеральской личности:

— Брось, батюшка, каноны разводите. Добровольцами мы не пойдем. От большевиков мы худа не видели. Хотите, так мобилизуйте силой закона, а добровольно — ступайте сами..

Поп побагровел весь, карабином о пол стучит.

— Измена,— говорит,— это! Натерпитесь вы от большевиков горя. — И пошел, и пошел.

Народу полная изба — галдят:

— Не пойдем добровольно!

— У нас ни хлеба, ни дров, как оставить семьи!

— А большевиками ты стращай вот кого, — и указывают попу на кулачье. — А мы при большевиках жить научимся. Пиши, секретарь: „Добровольно ни одна душа в белую армию не пойдет“.

Протокол составили. Поп с генералом Шапошниковым, как ошпаренные, выскочили с собрания, протокола не взяли, к чему им такой! Сели в тарантас, — поехали. Навстречу им контрразведка из белогвардейцев. Поп выскочил из тарантаса, начальника разведки Кожевникова благословил:

— Куда едете?

— На Печору, там неспокойно.

— И у нас неспокойно, — пожаловался поп, — отказались итти дальше добровольцами.

Контрразведка привернула. Видим, с поповского благословения дело плохо обернулось. Сразу арестовали, как бунтовщиков, Ваську Большого, Николку Филина, Гаврю Ляпунова и еще пять человек. Руки всем связали — и в тюрьму. Мужик привык думать, что первая вина прощается, а тут и без вины да виноватыми стали. Начальник их спросил:

— Где протокол об отказе служить добровольно?

— Не знаем.

— Врете! — кричит начальник. — Сгною, подайте протокол!

Искать-поискать — нашли. Из протокола ребятишки хлопушку сделали, играют... Многих мужиков увели.

Тут мы почувствовали белых на своем хребте. Поприуныли. Ну, что ж, беды мучат да уму учат. Стали мужики языки на привязи держать, как бы до контрразведки не донеслось. Потом даже поговорка была, когда на Мудьюге каторгу белые открыли: „Не давай словам волю, язык до Мудьюга доведет“. Так и жили, горевали помаленечку да ждали конца их белому царствию...

— Антон Васильевич! Ты при белых чем занимался, тоже воевал с красными?

— Нет, по молодости лет был избавлен. У кулаков работал, обозничал, горе и злобу на сердце накапливал... В роду у меня отец и дедушка ловкие на слово были — прибаутчники. Дедушка сказки такие веселые рассказы

вал. День рассказывает, а народ неделю хохочет над теми сказками. У меня нет такого таланту. Потому наверно, что самолучшие годы на кулацком возу просидел. Ездил, но никогда не был другом хозяину. Лапоть сапогу не пара. Уж больно издевались богачи над беднотой...

Бедноту обирали белые в лоск до последней нитки... Был у нас комитет безопасности, возглавлял его Абрамов Кузя — богач. Он занимался отбиранием имущества у бедноты в пользу белой армии. Несмотря на отобрание последней лошади, и телеги, и сруи у одного и того же лица, отнимали последние лыжи. От этого комитета безопасности вся наша беднота была в большущей опасности. Разорили — и пикнуть не смей. Сколько людей в острог да на Мудьюг угадало. А оттуда редко кто вернулся, точно на кладбище увозили. Горлопанов кулаки спаивали и подкупали, а они, как собаки, в защиту кулаков на весь народ лаяли. К примеру, укажу на Петруху Киприянова, — не человек, а гадость. Не то, чтобы кулак, нет, батраки на него не работали, просто был прощальгой, балалайкой в руках кулачества. И через него те играли на мужицких нервах. Пил Петруха здорово. Казалось, намочи вином тряпку, да неси впереди него, — сто верст за винной тряпкой пойдет, дальше пойдет, пока винный дух не выветрится. С кулацкого вина да с английской горькой у него горло было как пешней пропешено — шире, чем у попа Мелентьева. Росту был высокого, голос имел грубый. И на каждом шагу орал супротив советской власти.

Кулаки сделали Петруху главарем земской управы. Еще больше стал он щепериться. Про себя-то мы молчком соображаем: „Пристал к барам, не пройдет даром. Нам яму копаешь, да сам в нее угадаешь“. Потом так и вышло. Красные когда появились в наших местах, этот земский начальник бочком да уверткой куда-то ускочил, а назад не вернулся.

— Постой, погоди, Антон Васильевич, ты со своим рассказом в сторону далеко ушел, расскажи, как ты у кулаков извозом занимался?

— Мало тут, парень, интересного. Кнут и вожжи в руках, а хомут на шее. Сплошная беда и надсада была. Летом спал на конюшне, голодный и оборванный. Свою скотину хозяин лучше кормил, чем батрака. Хорошо еще, моя мать иногда показывалась, навещала, белье кропаное приносила, хлеба краюху — мука пополам с соломой. А зимой извоз — мученье. Бывало ненароком потеряешь коровью вязку, обрывок веревки аршина два длиной, так хозяин и хозяйка

готовы сожрать тебя за это... Возили даже пушки, только скрип и лязг железа стоит, за сердце щиплет. Едешь ночью. Промокнут ноги, штаны примерзнут к портянкам, онучи — к валенкам. Обутка в таком виде стучала, как деревяшка. Остановишься ночью в деревне, попросишься погреться. Население было голодное, злое. Взглянут на везы, — а там все военное белогвардейское, — и говорят: „Проваливайте дальше, у нас больные, карантин и все такое“. И опять едешь и мучаешься, и другие возчики точно так...

Сыновья кулака подрядчика Зотикова из белого штаба в гости домой приезжали. Напьются вина и похваляются:

— Скоро Вологду займем, на пасху в Москву угадаем. Вся Россия побелеет.

Мне приходилось их по родне возить, ждать, на морозе простаивать, а в избу не смей зайти, за человека не считают.

Туго приходилось нашему брату, рабочему люду; ну, за это начальство понемножку получало кару-возмездие от тех, у кого терпение лопалось.

Летом дело было. Командир Корш с помощником на катер-истребитель садились. Рабочий моторист искоркой от спички взорвал мотор. Одному офицеру кое-что взрывом оторвало, а другого на берег вышвырнуло. Это от одной рабочей искорки! И я однажды храбрость проявил. Так дело было. Везу белогвардейца Зотикова. Пьяный, в санях дрыхнет. Хоть убей, не услышит. Винтовка рядом с ним лежит, вся инеем подернулась. Ну, думаю, либо в стремя ногой, либо в пень головой. Дай-ко, я винтовочку-то в канаву в снег спущу. А до этого я сидел на облучке и дремал. Ночь была, звезды в небе и лес по сторонам. Бросил ружьишко. Верст двадцать отъехали. Ни разу я после этого не вздремнул. Зотиков протянулся под покрывалом, хватил рукой по одну сторону, по другую, — нет ружья. Да как завопит на меня матерно:

— Антошка! Где винчестер?

— А я почему знаю? Видно, — говорю, — где-нибудь прибочило в ухабе, вылетело, только я не замечал.

А он меня ругает и пинками поддает, будто греется на морозе. Я терплю и невинным притворяюсь по молодости лет.

— Ну, — спрашивает Зотиков, — встречные ехали?

— Ехали, — говорю.

— И обгоняли в пути?

— И обгоняли, — говорю.

Махнул рукой, мата завернул крепкого, сел в сани, приказал:

— Погоняй, да не смей болтать, что ружье потеряли.

И никто не знал об этом до прихода красных.

— Антон Васильевич, красных-то вы очень ждали в тылу у белых?

— Ну, милый мой, еще бы, как ждали-то. Полтора года ждали, а будто за сто лет всяких бед и невзгод пережили... Тяжело было ждать. Сходишь от скуки в церковь, там одни и те же басни с амвона: „Большевики—антихристы, анафемы, а Миллер-генерал — божий посланник!..“ А что эти посланники делали — жуть!..

Вот так и жили во времена белых. И у себя на родине, да как будто не у себя. Вся Россия Советская по ту сторону фронта, а мы здесь, как на каторге. Хорошо, хоть скоро белым да интервентам конец пришел.

## На Северной Двине

На географической карте нет Двинского Березника, а есть Семеновское — село, названное в честь святого Симеона. Однако с давних пор Симеон преподобный не пользуется со стороны местного населения ни любовью, ни даже простой признательностью, а потому на место его храма трудящиеся Двинского Березника воздвигли среднюю школу и клуб. Пусть на карте значится Семеновское, но местные жители считают правильным называть свое село Двинским Березником.

Скучное и мрачное было когда-то село — Двинской Березник. В памяти березницких крестьян глубоко и надолго сохранились следы проклятого прошлого. Помнит колхозный люд, особенно старожилы, как на стыке двух северных рек — Двины и Ваги, на двух бойких трактах — Устюжском и Московском выростала поспешно деревня, ставшая потом селом. С каждым годом количество хибарок и обыкновенных сельских домов прибывало с двух концов села. Одни — строились на скорую руку, в целях рыбацкой и торгашеской наживы — вдоль по берегу Северной Двины, другие — подальше на песчаном бугре, окнами на Двину, задворками к лесу. На бугре, на песчанине строились избы крепкие, зажиточные. Бросается в глаза такая особенность села: в нем нет садов, палисадов, нет под окнами и между домами деревьев. Чем объяснить это? Или тут косность населения, нежелание придать живописный вид селу; или же большинство жителей Двинского Березника, и зиму и лето работая в лесу, так привыкают к нему, что предпочитают видеть свои жилища на свободе, вне лесного окружения, на взлете над могучей, многоводной рекой... А все-таки древесное насаждение не испортило бы вид села.

Задолго до революции, Двинской Березник превратился в административный центр. Здесь были становой пристав, и мировой, и чиновники Удельного ведомства. Сюда, в Березник, царское правительство ссылало политических —

„крамольников“, последние влияли на местное население, способствуя росту его политического сознания. Березницкие крестьяне становились непослушными, они не платили податей, отказывали чиновникам в сборе оброчных и нередко прибегали к самовольному захвату удельного леса. Становой не раз трусливо прятался от мужицкого гнева, и часто ему приходилось чинить выбитые булыжником в его квартире рамы. Случалось, иногда крестьяне хватали пристава где-нибудь на узенькой дорожке, вытаскивали его из кибитки и изрядно поколачивали. После этого в Двинской Березник приезжала конная полицейская стража, а иной раз — отряд казаков, в зависимости от обстоятельств, и тогда ходили по мужицким спинам розги и нагайки. Но случалось, что в многолюдные церковные праздники народ скоплялся у стен преподобного Симеона, и тогда слышался сначала робкий, а потом дружный, толковый сговор:

— А что, ребята, не всыпать ли казакам-то?

Говорили мало, но хорошо понимали друг друга березничане и вместе с ваганами \* давали отпор слугам царевым.

И еще помнят березницкие и устьяжские колхозники старого деспота и грубияна Кузнецова Гаврилу. Был он опытный, жуликоватый торгаш. Сначала занимался Гаврила Кузнецов мелкими подрядами, затем закабалил всех важных смолокуров, открыл десяток кабаков, овладел лесоразработками, раскинул широко торгашескую сеть и ловил в нее местных крестьян и проезжих. В бога Гаврила не особенно верил, но старался на виду у населения казаться человеком благочестивым, пел на клиросе, покупал для церкви стопудовые колокола, украшал побрякушками храмы божьи.

Помнят березницкие жители кутежи Гаврилы с чиновниками, знают тех горлопанов, которых подкупал он, чтобы славословили его. Имел Гаврила за раз двух жен и одну приживалку из города; был плодовит, скопил около дюжины детей, да не удался род Гаврилин. Один сын проторговался, обнищал; другой — в монахи постригся; третий — в гражданскую войну рыл окопы и... со страху повесился; четвертый — белый офицер — не ушел от красноармейской пули; пятый пропал без вести... Дочери Гаврилы стали попадьями и бесславно кликушествуют. А про самого Гаврилу березниковцы, теперь вспоминая, говорят: „Окошел, стервец, накануне революции, догадался сдохнуть, не увидевши неба с овчинку“.

\* Ваганы — крестьяне с реки Ваги.

Революция пришла в Двинской Березник вместе с солдатами-фронтовиками. Сидел тогда в волости управляющий уделом Васечкин, впоследствии небезызвестный белогвардейский шпион. Васечкин противился большевикам, но был сброшен со своей должности солдатами, пришедшими с фронта, затем ненадолго скрылся и снова вынырнул при белогвардейщине.

Незабываемы для березничан дни гражданской войны, многое они видели в эту горячую пору, не мало горького хлебнули от проклятой интервенции. И по сей день около Двинского Березника осыпавшиеся окопы, разрушенные блиндажи да ржавая заградительная проволока напоминают о былых боях.

Двинской Березник с самого начала гражданской войны на Севере и почти до конца ее был важнейшим стратегическим пунктом.

Здесь проходил со своим отрядом Павлин Виноградов.

Он шел ликвидировать шенкурское восстание, поднятое контрреволюционерами. Население Двинского Березника и устьяжских деревень приветливо встречало его отряд. Крестьяне снабжали отряд питанием, предоставляли подводы для бойцов, спешивших разделаться с предателями эсерами и всей кулацкой контрреволюционной шенкурской нечистью, поднявшей голову к моменту прихода интервентов в Архангельск.

Здесь, около Двинского Березника, на длинном плесе Северной Двины не раз происходили горячие речные бои примитивной по вооружению советской флотилии против военных канонерок англичан-интервентов. Но об этом ниже.

Здесь, в Двинском Березнике, орудовал штаб белогвардейщины. Белогады вкупе с интервентами, получив отпор от малочисленных, но героических красноармейских и краснопартизанских отрядов, осенью в восемнадцатом году укрепились в этом районе. Штаб белых во главе с эсеровским ставленником бандитом Ракитиным, с полковником Чубашком и прочими военными чиновниками из армии „союзников“ с их контрразведкой, подвизался здесь. Этих „подвигов“ никогда не забудет население Двиноважья...

Берег Двины сплошь застроен новыми домами в наше советское время. Мы идем по этому берегу — я и бывший красный партизан Федор Пономарев. Этот седовласый, усатый, с узкими подслеповатыми глазами старик много знает о прошлом Двинского Березника. Он сам участник боев против белогвардейщины в здешних, родных ему местах.

Мы идем по берегу. Ветер крутит по песчаной дороге, мешает смотреть прямо открытыми глазами на длинное плесо реки, на плоты леса, плывущие сверху из запаней.

Прячась от ветра, пересыпающего песок по двинскому берегу, мы с Федором Пономаревым сворачиваем в укромное место, где меньше дует, и, остановившись близ школы, ведем разговор на знакомую и близкую тему:

— Вот здесь, у пристани, где сейчас построены ларьки для сплавщиков, и вон там, под окнами кафе-ресторана, — говорит, показывая рукой, Федор Пономарев, — были двадцать лет назад построены под открытым небом клетки из колючей заградительной проволоки. Можно было бы подумать, что эти клетки были предназначены для зверинца, для диких зверей. Нет, дорогой товарищ, — глубоко вздыхает Пономарев, — эти клетки строила контрразведка интервентов для пленных красноармейцев, случайно попадавших в их лапы, и сажала сочувствующих советской власти, которых шпион Васечкин выдавал как большевиков.

Наши березничане с ненавистью помнят человеческих выродков. — Яшку Семакова да Степку Ушакова. Эти два гада выполняли гнусные задания контрразведки: они были палачами. Впоследствии советский суд воздал им по заслугам.

Ветер начал стихать. Песок на дороге переметало чуть-чуть. Облака крутые неслись за рекой над бесконечными лесами. С Красноборска в Двинской Березник возвращался обычным рейсом самолет, его крылья под лучами солнца блестели серебром.

— Вот видишь, как изменилось лицо района, — сказал Федор Пономарев, щурясь на самолет и отвлекаясь от темы разговора, — у нас самолеты, регулярное воздушное сообщение с Архангельском. У нас десятки тракторов на колхозных полях. Наш двино-важский бассейн сплавляет в Архангельск свыше двух миллионов кубометров леса, — вот что значит в наше время Двинской Березник. Не зря мы за него дрались, не зря кровь проливали... Ну, пойдём к перевозу, взглянем на тот берег; там сегодня ставят Осиновскую запань...

На реке сновали моторные катеры. На берег с барж и буксиров матросы сгружали сплавной такелаж, цинки, снасти пеньковые, сплоточную проволоку и якоря. У сплавконторы, на лужайке в тени, сидели десятки колхозников и колхозниц с берестяными коробами и чемоданами. Люди пришли наниматься на сплав и ждали отправки на Шидровскую генеральную запань... Мы остановились у пере-

воза. Там ставили запань, закрепляли боны; но не это привлекало внимание Федора Пономарева, бывшего красного партизана.

— Вот, посмотри на тот берег, — сказал он.

Я пристально оглядел весь берег. Ничего особенного: бараки Двинолеса, подалее немного — деревня Осиново с обезглавленной деревянной церковью и зеленеющие поля.

— Обычный двинской пейзаж! — заключил я вслух.

— В том-то и дело, что не обычный, — многозначительно проговорил Пономарев и спросил: — А осиновский луг видишь?

— Вижу.

— Этот луг исторический, он обильно полит кровью советских людей, отдавших свою жизнь в борьбе с интервентами. Я давно, товарищ, настаиваю перед местными руководителями на том, чтобы поставить на осиновском лугу памятник такой, чтобы отсюда с берега его было видно...

Тогда же Федор Пономарев поведал мне следующее.

Весной в девятнадцатом году здесь, у белых в тылу, стоял известный Дайеровский полк. Полк был известен тем, что его создал генерал Марушевский из состава заключенных Архангельской губернской тюрьмы. Полк, носивший имя генерала-интервента, был наводнен для порядка отъявленными белобандитами и офицерами-интервентами. И вот, вместо того, чтобы вступить в бой с красными войсками, солдаты Дайеровского полка перебили своих командиров, с оружием в руках перешли на нашу сторону и вступили в ряды Красной армии. Победа была не маленькая. Но часть организаторов восстания, не успев попасть к красным, попала на расправу к интервентам. На этом самом осиновском лугу интервенты учинили зверскую казнь наших товарищей. Это было 15 июня 1919 года. В Двинском Березнике есть очевидцы расстрела одиннадцати „дайеровцев“. Да, их было одиннадцать человек, обреченных на смерть. Под строжайшим конвоем интервенты вывели их на этот зеленый осиновский луг. Каждого приговоренного к казни палачи привязали к столбу. Каждому завязали глаза. И каждому на голом теле против сердца черной краской намалевали мету — мишень для пуль. Против всех приговоренных к смерти было выставлено одиннадцать английских пулеметов.

Палачи прицеливались, но не сразу стреляли. Интервенты решили использовать этот расстрел как средство укрепления дисциплины в рядах белой армии. В этот день к Двинскому

Березнику прибыли пополнения в белый полк из мобилизованных крестьян. Вновь прибывшим в полк, не нюхавшим пороха, для остротки и было показано зрелище дикой бойни. Затрещали пулеметы. Кровью обагрилась земля.

Палач-капитан Козин говорил новобранцам:

— Вот видите, чем пахнет переход на сторону большевиков!..

Такая „учеба“, однако, не пошла впрок. Многие мобилизованные затаили в сердце глубокую ненависть к убийцам и при первой возможности переходили на сторону красных.

... С верховья реки из-за поворота показался сверкающий белизною большой пассажирский пароход. Он шел вниз по течению на Архангельск. Поровнявшись с Двинским Березником, пароход сделал среди реки поворот, причалил к пристани. Берег около пристани ожил. Сотни пассажиров двинских и важских вышли погулять, пока идет разгрузка пароходных трюмов. Бочки, ящики, штабели мешков, сельскохозяйственные машины и орудия быстро завалили берег.

Мы прошли с Федором Пономаревым к людскому скоплению.

— Много потребляет наш район товаров, — говорит кто-то, видать, из кооперативных работников, — возим-возим и навезти не можем. Покупательная способность растет с каждым днем...

— И все растет, и ты растешь, сам не замечаешь, как растешь, — философствуя, заметил кооператору его товарищ, осматривавший груз, и, хитро улыбнувшись, продолжал: — Вот, к примеру скажем, ты, Сергей Иванович, год назад или немного больше, ни за что бы таких слов, как „покупательная способность“, с языка бы не спустил. А теперь ты их произносишь и не ради красного словца, а вполне осмысленно. Так ведь?

— А я никогда над этим вопросом не задумывался.

— Не вредно иногда и подумать; подумаешь — скорей поймешь, где скрыта эта самая причина роста и движения вперед.

Около длинно протянутых трапов, на песке, у самой реки валялись обломки колоколов. На обломках — серых, заплесневелых, грубо вылитые лики святых и церковно-славянская вязь.

— Куда этот божественный груз? — спросил громко один из грузчиков, наваливая на другого пятипудовый железный язык от колокола.

— В Архангельск, в Рудметаллторг. Хватит, позвонили и с колокольни долой!— ответил пристанщик.

— Вот они, Гаврилы-то Кузнецова, буржуя здешнего, церковные подвески,— в лом пошли, на трактора переделают,— заметил, смеясь, Федор Пономарев.— Давно я не слышал ихнего звону... У нас вот так обстоит теперь: глянь с самого высокого берега вокруг— и ни одной церкви не увидишь...

Часа через два пароход отошел в Архангельск. И в то же время к березницким пристаням прибыли еще два пассажирских парохода: один— с Шенкурска, другой— с Архангельска. Жизнь на берегу кипела, не замирая...

\*

Стояли теплые, долгие дни. Ночи были прохладны и светлы.

Берега Двины покрылись сплошной зеленью.

В эту прекрасную пору, путешествуя по двинскому половодью, по тем местам, где происходили сражения с интервентами и белогвардейцами, мне часто приходилось сталкиваться с участниками боев и слушать воспоминания о незабываемом прошлом. И тогда вставали перед глазами картины кровопролитных героических схваток, вырисовывались лица отважных бойцов, грудью своей отстаивавших Советский Север.

Около деревни Шидрова, вблизи Двинского Березника, есть места, заросшие густой травой. Память о том, что происходило здесь в сентябре восемнадцатого года, останется навсегда. Колхозный люд Двиноважья с гордостью вспоминает имя славного героя—Павлина Виноградова, погибшего здесь в бою с интервентами.

1918 год. Отряд беломорских матросов—130 человек, на пароходах „Мурманск“, „Боец“, „Сильный“, „Богатырь“ и одном мотором катере отступил из Архангельска. 8 августа на Двине у Тулгаса произошел первый речной бой. Красные беломорцы захватили белогвардейский пароход „Марта“ и несколько человек в плен. Интервенты отступили от Тулгаса на 60 километров вниз по Двине.

Не раз в течение осеннего месяца, в темные ночи, с потушенными огнями, и в предрассветные туманы буксирные пароходы Павлина Виноградова, вооруженные „макленками“ и трехдюймовками, сражались с английскими быстроходными отлично вооруженными канонерками. В этих боях, под руководством Павлина Виноградова, советские матросы проявили беззаветный героизм, обнаружили пред-

приимчивость и находчивость. Враг, несмотря на свое численное и техническое превосходство, не смог добраться до Котласа.

План соединения с колчаковскими бандами английским генералам не удался.

А в это время подоспел на Двину 1-й Вологодский социалистический полк. Бойцы горели отвагой, они были охвачены единым стремлением—вышвырнуть вон с Советского Севера белобандитов и интервентов.

Павлин Виноградов после месячной неутомимой, беспрестанной борьбы с белогвардейскими речными судами, сошел на берег и в первых рядах вологжан двинулся в наступление на Двинской Березник. Это было 7 сентября. А на другой день разгорелся бой под Шидровым. С берега наступала белогвардейская пехота, с Двины вели артиллерийский обстрел интервенты. Павлин Виноградов и его близкий товарищ артиллерист находились под прикрытием за штабелем бревен, из трехдюймовки прямой наводкой, в упор, они вывели из строя одно судно интервентов. С других судов неприятель усилил артиллерийскую стрельбу. Снаряд угодил в штабель. Взрывом разбросало бревна. Осколками снаряда был тогда убит Павлин Виноградов. Рядом с ним погиб и его боевой товарищ при орудии.

Бойцы жалели своего командира и прекрасного товарища. Не раз, вспоминая Павлина, они говорили:

— Так посмотреть—невзрачен, а сила в нем была огненная,—умел зажигать сердца людей, знал когда и как поднять геройский дух.

— По его указу, кажись, один на целую сотню пошел бы и не струсил.

На той же неделе, 12 сентября, интервенты поплатились за смерть героя.

Англичане на своих быстроходных канонерках проникли в тыл красных, высадили человек двести в деревне Чамове. Они рассчитывали нанести неожиданный удар с тыла. Но красные моряки-беломорцы прогнали английские канонерки до Двинского Березника. Да так поспешно, что те не успели захватить высаженный в Чамове десант. В незнакомой местности англичане-интервенты, припертые к Северной Двине, были мгновенно уничтожены.

— Это вам за нашего Павлина!

— Это вам за то, что пришли непрошенные на нашу землю!.. — приговаривали бойцы, уничтожая интервентов.

Немало погибло этих пришельцев на берегах Северной Двины.

Летом девятнадцатого года половина Северной Двины, от Двинского Березника до Архангельска, находилась во власти интервентов. А потом могучая лесная река была очищена и от минных заграждений, и от тех, кто их ставяла.

Генералы иноземные и русские удрали за море. Бежали за границу крупные архангельские буржуи. Бежали „деятели“ предательских партий, услужливые адвокаты интервенции...

Север стал свободным. Его могучая артерия—Северная Двина—свидетельница боевых схваток героических отрядов Красной Армии с бандами белогвардейщины и интервенции—несет славную службу социалистической родине.

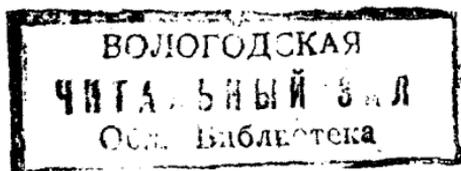
Никогда больше канонерки интервентов не будут бороздить нашу прекрасную Северную Двину.

Архангельск

1938 г

## СОДЕРЖАНИЕ

Правда о герое . . . . .	3
Разведчики . . . . .	11
Хаджи-Мурат . . . . .	22
Боевые приключения Пастухова . . . . .	35
Три случая из жизни Ивана Носкова . . . . .	46
На „Фармане-30“ . . . . .	52
Заметки о савинцах . . . . .	59
Дело было во дворе тюрьмы . . . . .	71
Как кулаки белогородам помогали . . . . .	78
На Северной Двине . . . . .	86



*Архангельское Государственное Издательство  
просит читателей и библиотеки присылать  
свои отзывы об этой книге по адресу  
Архангельск, ул. Урицкого, 5  
Архоблиз*

Редактор *Г. Я. Кузнецов*

Техред-корр. *А. А. Веселовская*

Обложка худ. *В. Г. Постникова*

Уполн. Архобллита № 1593 Авт. л. 5,5

Формат 84 × 108/32

Огиз № 971

Печ. л. 6

Сдано в набор 2/XI 1938 г.

Инд. X-16

Бум. л. 1,5

Подп. к печ. 13/XII 1938 г.

Тираж 5000

Эн. в б. л. 167808

Заказ № 3884

Цена 1 р. 65 к.

Вологда, тип. „Северный Печатник“, ул. Маркса, 70.

п. 53 г.

86

08

1 р. 65 к.

Handwritten number 48 in red ink.

Handwritten number 11 in purple ink.

Handwritten number 12 in purple ink.

Handwritten number 15 in purple ink.

Small handwritten number 12 in purple ink.